This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

5132 434/.1.1535

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of

THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of

JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER

VE RI TAS

Священникъ Г. ПЕТРОВЪ.

БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ

„Братья писатели, въ нашей судьбѣ что-то лежитъ роковое“.
Некрасовъ.

ИЗДАНІЕ ШЕСТОЕ.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ТЫСЯЧА.

Цѣна 50 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія П. Вощинской. Ярославская ул., № 1—9.
1904.

БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ

PETROV

СВЯЩЕННИКА

Г. С. Петрова.

ШЕСТОЕ ИЗДАНІЕ.

„BRATIIA PISATELI"

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія П. Вощинской, Ярославская ул., № 1—9.
1904.

Slav 4341.1.1535

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
JUN 4 1973

Леонидовичу

Братья писатели.

„Братья писатели, въ нашей судьбѣ что-то лежитъ роковое“.

Некрасовъ.

I.

Драма жизни.

Покойный Владиміръ Соловьевъ при открытіи философскаго общества въ Петербургѣ собирался читать докладъ „О жизненной драмѣ Платона“. Взятая тема сильно всѣхъ занимала.

— Интересно, какую драму въ жизни Платона нашелъ Соловьевъ, — говорили знатоки философіи. — Платонъ дожилъ до глубокой старости. Умеръ—окруженный славою. Всю жизнь провелъ въ почетѣ и достаткѣ. Единственною непріятностью жизни мудреца было то, что Діонисій, тиранъ сиракузскій, пригласилъ его къ себѣ для совѣтовъ, а потомъ, недовольный его менторствомъ, въ досадѣ продалъ философа въ рабство. Но и это только послужило на пользу Платона. Ученики тотчасъ же собрали большую сумму денегъ и выкупили учителя. Послѣ выкупа осталась еще большая сумма и на нее купили близь Аѳинъ Платону чудную рощу, гуляя, по аллеямъ которой фи-

*

лософъ впослѣдствіи и раскрывалъ глубины своей философіи.

— Гдѣ же тутъ,—спрашивали любители философіи, — матеріалъ для жизненной и какой бы то ни было драмы?

Интересная, художественная по формѣ и глубокая по замыслу рѣчь Владиміра Соловьева показала, однако, что матеріалъ для драмы былъ и что самая драма въ жизни Платона имѣла мѣсто. Соловьевъ взялъ Платона на жизненномъ распутьѣ, въ моментъ его раздумья у свѣжей еще, такъ сказать, могилы его великаго учителя, Сократа.

Соловьевъ поставилъ вопросъ: „какимъ образомъ Сократъ, великій праведникъ древняго міра, незаконно могъ быть осужденъ на смерть совершеннѣйшимъ среди людей судомъ, гласнымъ судомъ присяжныхъ? Какъ могло совершиться подобное страшное беззаконіе?“

— Здѣсь, въ судѣ аѳинянъ надъ Сократомъ столкнулись двѣ правды, — разрѣшилъ вопросъ глубокомысленный лекторъ,—одна правда временная, относительная, мѣстная, человѣческая, правда аѳинянъ, и другая правда, — правда вѣчная, безусловная, божеская, правда Сократа. Первую правду выработали общимъ народнымъ усиліемъ сами аѳиняне. Она была освящена вѣками и дорога Аѳинамъ, какъ ихъ собственное достояніе, но она же была и отраженіемъ Аѳинъ со всѣми ихъ достоинствами и недостатками. Сократъ не удовлетворялся этой правдой. Онъ прислушивался къ говорящему внутри его голосу божества и звалъ аѳинянъ дальше, указывая имъ свѣтлыя вер-

шины виднѣющейся вдали Божіей правды. Вѣковую правду аѳинянъ Сократъ обезцѣнивалъ передъ судомъ вѣчной правды божества.

Двѣ эти правды рядомъ мирно ужиться не могли. Одна должна была уступить мѣсто другой. За кѣмъ останется *внѣшній* успѣхъ, рѣшить было не трудно. На сторонѣ правды временной, человѣческой были всѣ Аѳины. Сила физическая была ея и она раздавила Сократа. Провозвѣстникъ нарождающейся на землѣ правды Божіей былъ приговоренъ судомъ правды человѣческой къ чашкѣ цикуты.

Сократъ умеръ. Его голосъ, какъ крикъ пѣтуха, будящій спящихъ на разсвѣтѣ, замолкъ. Что будетъ дальше? Погаснетъ ли вмѣстѣ съ застывшимъ мудрымъ и кроткимъ взглядомъ Сократа и занявшаяся было такъ ярко заря правды Божіей? или найдутся другіе люди, которые еще пытливѣе и глубже заглянутъ въ очи высшей правды, еще громче будутъ звать къ ней, еще выше поднимутъ передъ взоромъ толпы конечный идеалъ человѣка?

Первому дать отвѣтъ на этотъ вопросъ предстояло Платону. Онъ былъ геніальнѣйшимъ ученикомъ Сократа, и духовное наслѣдство казненнаго мудреца, со всѣми лежащими на немъ обязательствами, по праву должно было перейти къ нему. Платонъ это понималъ и это дѣлало для него данный моментъ драматическимъ.

Какъ быть? Куда идти? Передъ глазами двѣ дороги. Голосъ сердца властно влечетъ по пути Сократа, но этотъ путь, путь провозвѣстника блеснувшей надъ міромъ вѣчной правды ведетъ... къ

чашкѣ съ цикутой. Уйти въ сторону отъ этого пути? Идти широкою и торною дорогой всѣхъ? Это значитъ отравить всѣ лучшія мечты, убить въ себѣ все, что было дорого, чѣмъ жило сердце, отъ чего душа горѣла свѣтлымъ и радостнымъ огнемъ.

„Какъ быть?“ Это вопросъ былъ посерьезнѣе, трагичнѣе знаменитаго гамлетовскаго вопроса: „быть, или не быть?“ Чему тамъ, у Гамлета быть? чему не быть? Мстить, или не мстить? Казнить братоубійцу и завладѣть престоломъ? или оставить злодѣя мирно править? У Платона глубже и страшнѣе вопросъ. Для него „быть, или не быть?“ значитъ: „быть, или не быть человѣкомъ? обречь ли себя за правду неба на смерть у палача? или самому быть палачомъ этой правды?

— Вотъ мучительная, роковая жизненная драма, которую пришлось пережить Платону не въ воображеніи поэта, а въ живой дѣйствительности, — сказалъ въ заключеніе Владиміръ Соловьевъ. — Это даетъ мнѣ право закончить мою рѣчь словами покойнаго поэта Фета, который любилъ говаривать:

— „Повѣрьте, дорогой мой, нѣтъ интереснѣе и жизненнѣе драмы, какъ жизнь человѣческая, а величайшій поэтъ, художникъ и драматургъ—Самъ Господь Богъ“.

Приведенныя Соловьевымъ слова Фета выражаютъ глубокую философскую мысль въ изящной поэтической формѣ. Дѣйствительно, жизнь человѣческая отъ его первыхъ дней существованія до той минуты, когда замретъ послѣдній вздохъ въ человѣческой груди, представляетъ одну сплош-

ную незаконченную драму, которая является единственною по своей геніальности и по глубокому захватывающему интересу, и въ которой мы всѣ, каково-бы ни было наше положеніе, нашъ образъ мыслей и наше образованіе, неизбѣжно обречены играть ту или другую роль.

Что такое драма? Въ чемъ ея сущность? Основой всякой драмы является столкновеніе двухъ какихъ-либо враждебныхъ другъ другу началъ или силъ жизни, а всѣ начала и всѣ силы жизни могутъ быть сведены и опредѣлены въ двухъ основныхъ дѣйствующихъ въ мірѣ началахъ и силахъ— въ силахъ добра и зла. И эти двѣ силы постоянно борются между собою, создавая всему человѣчеству, вообще, и каждому человѣку въ отдѣльности все новыя и новыя драматическія положенія.

Человѣческій духъ въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, учителей добра и правды, давно уже понялъ эту драматическую основу своего существованія. Религія древнихъ египтянъ говоритъ о постоянной борьбѣ свѣтлой Изиды, матери сущаго и богини плодородія, радости и довольства съ мрачнымъ, зловѣщимъ Тифономъ. Священныя книги ассирійцевъ, Веды, весь міръ и всю жизнь людскую представляютъ не иначе, какъ результатомъ неустанной вражды бога добра и бога зла, Ормузда и Аримана. Классическіе греки своего великаго героя, Геркулеса, на порогѣ его жизни, видятъ въ тяжеломъ раздумьѣ. Передъ нимъ дорога раздвояется и на распутьѣ двѣ женщины— добро и зло, порокъ и добродѣтель. Каждая манитъ героя къ себѣ и за собою. Наши древнія

былины говорятъ о такомъ же распутьѣ и для русскаго добра-молодца. Извѣстная картина Васнецова прекрасно иллюстрируетъ этотъ драматическій моментъ. Юный витязь, полный силы и отваги, на добромъ конѣ выѣхалъ въ поле. Даль закутана дымкой тумана. Что будетъ впереди, невѣдомо. Виднѣются кое-гдѣ, стоя и лежа, камни — намогильныя плиты: не одинъ тутъ добрый молодецъ сложилъ свою голову, не одного витязя загрызла—заѣла змѣя, лютая тоска. Конь сурово насупился: уперся передними ногами, согнулъ голову, готовъ податься назадъ. Витязь опустилъ поводъ, положилъ копье на сѣдло и задумался. Передъ нимъ столбъ, а на столбѣ извѣстная надпись: „пойдешь налѣво, коня потеряешь; свернешь направо, самъ пропадешь“, т.-е. если пойдешь направо, правымъ путемъ, въ честномъ бою за правду погибнешь, а если пойдешь налѣво, самъ уцѣлѣешь, но потеряешь свою гордость, лучшаго друга и спутника—честь.

Наконецъ, великая книга жизни, Евангеліе, говоритъ намъ, что не только вся жизнь человѣчества есть одна непрерывная, сплошная драма, но что въ этой, какъ и во всякой другой, драмѣ есть моменты особаго подъема, наивысшаго напряженія драматизма и что такой моментъ въ исторіи человѣчества былъ. Это былъ моментъ искушенія Христа, когда въ безмолвіи пустыни столкнулись вся, воплощенная полностью, правда Божія и все могущество и обаяніе зла, властно царящее надъ міромъ. Моментъ, если вдуматься серьезно и осмыслить, потрясающаго драматизма.

Въ міръ вступаетъ воплощенное Божество. Не

заря Божіей правды только занимается, какъ это предносилось взору Сократа и Платона, а восходитъ яркое Солнце, которое несетъ съ Собою полную истину, способную развязать всѣ путы жизни, разрѣшить вѣковыя загадки бытія и освѣтить путь къ лучшему будущему, къ торжеству добра на землѣ, къ Царству Божію въ людяхъ. Зло чувствуетъ, что наступаетъ роковая минута, что ставится вопросъ, быть ему или не быть.

Карлейль въ своей глубокомысленной и порою вдохновенной книгѣ, въ „Sartor resartus", говоритъ, что человѣкъ живого духа есть худшій врагъ, какого только можетъ имѣть „Князь Тьмы" и что, несомнѣнно, всякій разъ, какъ только такой человѣкъ возвѣщаетъ о себѣ, все преисподнее царство содрагается и приготовляетъ новыхъ эмиссаровъ съ новыми хитростями, чтобы, если возможно, уловить его, завязать ему глаза и сковать его.

Тутъ, въ пустынѣ былъ не человѣкъ лишь живого духа, а воплощенный въ человѣкѣ Духъ Жизни, воплощенное Божество. Поэтому зло должно было напрячь всѣ свои силы. Оно однажды уже пыталось вступать въ бой съ воплощенной Правдой, думало умертвить Ее въ колыбели, но, оказалось, неудачно. Перефразирую извѣстный стихъ Алексѣя Толстого въ „Іоаннѣ Дамаскинѣ", можно сказать:

„Надъ Правдой Божіей не властны
Ни Иродъ, ни его мечи".

Теперь зло на мѣсто безсильнаго въ нравственной борьбѣ волчьяго зуба выпускаетъ лисій хвостъ.

Духъ зла, гордый властелинъ порабощеннаго Мамоной человѣка, возводитъ Христа на вершину горы, показываетъ Ему всѣ царства міра, сулитъ отдать все это, предлагая лишь Царство Божіе въ людяхъ, царство нравственнаго свѣта и духовнаго роста замѣнить царствомъ утробной сытости („обрати камни въ хлѣбъ") и духъ живой любви и свободнаго служенія Вѣчной Правдѣ замѣнить рабскимъ преклоненіемъ предъ непонятнымъ, страшнымъ чудомъ („бросься сверху внизъ").

„Дамъ Тебѣ всѣ царства міра
И всю славу ихъ,
Лишь, падши, поклонися мнѣ",—

говоритъ Христу духъ зла.—Свѣти на міръ и преломляйся въ людяхъ сквозь мою призму.

— Отойди отъ Меня, сатана! — отвѣчаетъ Іисусъ.—Богу одному надо кланяться и Ему одному служить.

Роковой для міра и для человѣчества вопросъ рѣшенъ и рѣшенъ утвердительно: „Быть добру! Быть Божіей правдѣ незапятнанной и полностью воплощенной на землѣ!"

Принципіально, стало быть, вопросъ рѣшенъ, но остается еще практическая сторона, вопросъ объ осуществленіи этой правды въ жизни, о полномъ воплощеніи ея въ людяхъ. Человѣкъ, бывшій и (увы!) бывающій часто и теперь *звѣремъ*, не только долженъ стать *человѣкомъ* въ полномъ смыслѣ этого слова, но обязанъ идти дальше, нравственно расти выше, стремиться къ *Богочеловѣчеству*. „Будьте совершенны, какъ совершенъ

Отецъ вашъ небесный",—вотъ задача, которую ставитъ Евангеліе людямъ.

Этотъ евангельскій идеалъ *богочеловѣчества* неизмѣримо выше выдвинутаго за послѣднее время философіей Ницше идеала *сверхчеловѣчества*.

Владиміръ Соловьевъ, въ предисловіи къ своему „Оправданію добра", шумный успѣхъ философіи „сверхчеловѣчества" объясняетъ нравственною тупостью современнаго общества, а о самомъ Ницше нѣсколько можетъ быть, вульгарно, но мѣтко говоритъ, что „онъ мелко плаваетъ". Ницше въ своей философіи „сверхчеловѣка", именно, мелко плаваетъ, слишкомъ плоско и не глубоко понимаетъ сущность вещей. Не вдаваясь въ подробности философской оцѣнки ученія Ницше о его сверхчеловѣкѣ, я для большей ясности дѣла приведу литературный примѣръ. Возьмите нашего Горькаго, такимъ яркимъ метеоромъ вспыхнувшаго вдругъ на литературномъ горизонтѣ. Вотъ писатель, который хотя и гордится своею русскою простонародною косовороткой, но до сихъ поръ пока ходитъ въ штиблетахъ нѣмецкой работы ницшеанскаго покроя. И эти штиблеты у него на каждомъ шагу, при всякомъ сгибѣ подошвы нестерпимо скрипятъ преклоненіемъ предъ ницшеанскимъ „сверхчеловѣкомъ", предъ силою, какова бы она ни была.

Припомните его лучшія по формѣ произведенія: „Мальва", „На плотахъ", „Двадцать шесть и одна". Что такое Мальва, эта фея рыбныхъ прорысловъ, эта молодая, сильная и рослая красавица, которую съ такою яркостью красокъ и съ такою, скажу, любовью къ дѣлу, рисуетъ авторъ,

и которая чуть-ли не съ каждымъ приливомъ и отливомъ моря, мѣняетъ своихъ избранниковъ сердца съ прихотливостью морской волны, цѣлующей прибрежные утесы? Что это такое: человѣкъ? или сверхчеловѣкъ? Ни то, ни другое. Мальва, это—молодое, красивое и сильное животное. Да проститъ мнѣ читатель рѣзкость сравненія; Мальва, это молодая и сильная степная красавица—кобылица, которая, пышно развѣявъ хвостъ и гриву, свободно носится по степи въ перегонку съ вѣтромъ и свободно даритъ ласками, то одного, то другого красавца табуна. Это не женщина, а самка. Не человѣкъ, тѣмъ менѣе „сверхчеловѣкъ", это — „*подчеловѣкъ*". И большинство другихъ героевъ Горькаго, передъ которыми онъ, видимо, преклоняется, какъ передъ людьми силы, какъ передъ нашими „сверхчеловѣками", все это въ дѣйствительности — не люди даже, а „*подчеловѣки*".

Возьмите теперь разсказъ „На плотахъ". Идетъ сплавъ лѣса по рѣкѣ. Цѣлая мужицкая семья, работникъ, вдовый старикъ-отецъ, его сынъ съ женою, гонятъ плоты. Сынъ хилый, болѣзненный парень, съ работникомъ плывутъ сзади, а его жена, молодая, красивая и сильная баба, съ отцомъ, еще крѣпкимъ, какъ матерой дубъ, старикомъ, правятъ плотомъ впереди. Старикъ-отецъ почти открыто грубо ласкаетъ сноху, а та, недовольная своимъ кисляемъ-мужемъ, въ истомѣ жмется къ дубовому кряжу. Работникъ подсмѣивается надъ парнемъ, указывая на переднихъ, а парень, по своей хилости и забитости, не имѣетъ силы даже сердиться.

Весь разсказъ, полный художественной красоты со стороны формы, представляетъ красивый аккомпаниментъ къ основному мрачному ницшеанскому мотиву: „Vae victis“, „Горе побѣжденнымъ“, „Міръ принадлежитъ сильнымъ“!

Что это опять такое? Какой тутъ силѣ поется гимнъ? и кто этотъ старикъ, герой „На плотахъ“?

Если Мальва, по нашему, не человѣкъ, а молодая красивая степная лошадь, то старикъ-плотовщикъ будетъ не сверхмужикомъ, а дикимъ и дюжимъ старымъ кабаномъ; вся же исторія „На плотахъ“—однимъ сплошнымъ свинствомъ, хотя бы оно и происходило при красивой обстановкѣ и о немъ мастерски-художественно по формѣ было разсказано.

Гдѣ же тутъ *сверх*человѣчество? Тутъ пока идетъ не о *подъемѣ вверхъ*, а о *паденіи внизъ*. Выше человѣка божество, а животное — ниже. Если человѣчность у насъ обычно принято называть гуманизмомъ (отъ латинскаго корня „humanus—человѣческій“), то „сверхчеловѣчность“ придется опредѣлить, какъ „*дивинизмъ*“ (отъ латинскаго „divinus—божественный“). Въ ницшеанствѣ же не только нѣтъ дивинизма: порой не видится и гуманизма, а чаще всего, какъ у Мальвы Горькаго и у стараго плотовщика, его же, рѣзче всего проступаетъ грубый *зоологизмъ*. Послѣднее, какъ я уже сказалъ,—не *сверх*человѣчество, а *под*человѣчество.

Сверхчеловѣчество проявляется не просто въ силѣ, какова бы она ни была, а въ силѣ разумной, дисциплинированной. Сама по себѣ сила можетъ быть грубая, стихійная, слѣпая, какъ, на-

примѣръ, сила вулкана, вихря, горной рѣки или сила буйвола и вепря. Сила же человѣческая проявляется въ томъ, чтобы эту слѣпую стихійную силу разумомъ подчинить себѣ; а сила *сверх*человѣческая въ томъ, чтобы и себя, и подчиненныя себѣ силы направить на осуществленіе высшихъ, не *человѣческихъ*, а *сверх*человѣческихъ, божескихъ цѣлей.

Всякая сила прекрасна тогда, когда она одухотворена какой-нибудь идеей и проявляется въ разумной созидательной работѣ. Когда же она крушитъ и давитъ все, она навѣваетъ ужасъ и справедливо зовется бѣдствіемъ.

Тамерланъ, Атилла и десятки другихъ вождей варварскихъ ордъ были люди грамадной стихійной силы. Они, какъ страшный смерчъ, пронеслись надъ міромъ: давили, крушили, жгли, раззоряли, раздавили каждый по полъ міра, однако исторія не вознесла ихъ въ сонмъ полубоговъ, не поставила имъ пьедесталовъ, а назвала ихъ карой человѣчества, міровымъ зломъ, Божіимъ бичомъ.

Древніе греки возвели Геркулеса въ „сверхчеловѣка", въ полубога, за то, что онъ убилъ льва и задушилъ гидру, очистилъ страну отъ чудовищъ; но не зато, что, пользуясь своею силой, перегрызалъ другимъ горло и душилъ всѣхъ, кто стоялъ у него на дорогѣ, и не зато, что самъ былъ чудовищемъ, ужасомъ всей страны. Такъ и теперь, истиннымъ героемъ, сверхчеловѣкомъ-полубогомъ будетъ не тотъ, кто, какъ левъ на стадс овецъ, кинется на толпу съ крикомъ: „vae victis!" нагоняя на всѣхъ ужасъ; но тотъ, кто, какъ Геркулесъ, избавитъ человѣчество отъ всѣхъ стра

шилищъ; кто не побоится войти въ болото человѣческаго сердца и тамъ не только убьетъ грозное съ мохнатой гривой зло и задушитъ гидру неправды, но усмиритъ въ человѣкѣ дикаго звѣря живьемъ и всю его хищную разрушительную силу направитъ на созидательную работу, на живое Божіе дѣло, какъ у Некрасовскаго Власа, у котораго

„Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла,
Словно съ роду жадность дикая
Непричастна ей была".

Свершить такое дѣло будетъ истинно сверхчеловѣческимъ подвигомъ и современное человѣчество, задыхаясь въ своихъ Авгіевыхъ конюшняхъ, ждетъ къ себѣ сверхчеловѣковъ, новыхъ Геркулесовъ, которые бы подняли его изъ болотныхъ трясинъ, раскрыли-бы ему сонныя вѣжды и повели-бы его туда,

Гдѣ небеса любовію сіяютъ,
Гдѣ правда ярче солнца свѣтитъ.

II.

Драма Лебедя.

Въ большомъ залѣ стариннаго, потемкинскихъ временъ, Таврическаго дворца въ Петербургѣ давался симфоническій концертъ, гвоздемъ котораго была чудная шестая симфонія Чайковскаго, написанная незадолго до преждевременной смерти талантливаго композитора. Управлялъ оркестромъ извѣстный лейпцигскій дирижеръ, Артуръ Никишъ, большой личный другъ и почитатель Чайковскаго. Всѣ петербургскіе серьезные любители музыки были на лицо. Не было ни одного мѣста свободнаго.

Первыя двѣ-три вещи прошли незамѣтно. Залъ ждалъ симфоніи. Вотъ и она. Артуръ Никишъ ведетъ ее наизусть. Подъ его талантливымъ жезломъ вдохновенная музыка Чайковскаго преобразила оркестръ. Большой и сложный оркестръ консерваторіи слился въ одну живую душу, и эта душа, стѣсненная, сдавленная чѣмъ-то, стонала, искала выхода, металась. Она то негодующе роптала, то съ затаенными глухими слезами, полная тоски, тихо и глубоко вздыхала. И эти подавленные стоны, скорбные вздохи, что неслись съ эстрады, отдавались тихой грустью въ залѣ. Они по-

дымали со дна души что-то хорошее, давнее свѣтлое, вызывали дорогія тѣни, которыя, какъ въ облакахъ, неясной вереницей носились въ сердцѣ, маня вслѣдъ за собой въ міръ чистыхъ думъ и святыхъ чувствъ. Вамъ хотѣлось бы подняться и летѣть за ними, но вы чувствуете, что отяжелѣли, что васъ тянетъ къ низу, что вы прикованы къ землѣ. И вы съ грустью слѣдите, какъ несутся тѣни. Вамъ хочется плакать. Вы понимаете, о чемъ, тамъ на эстрадѣ вздыхаетъ и порою стонетъ геніальная душа.

Я слышалъ и грезилъ на яву. Мнѣ видѣлась заводь. Осень. Сѣрый денекъ. Холодно. Сѣетъ дождемъ. Надъ озеромъ стая за стаей несутся лебеди. Они летятъ на югъ,—туда, гдѣ вѣчно голубое небо, гдѣ солнце ярко свѣтитъ и гдѣ такъ много свѣта, радости, тепла.

Смѣло и легко они несутся высью. Громкимъ и веселымъ крикомъ подзываютъ запоздалыхъ. А внизу, по заводи, у берега, подъ оголенною ракитой, по сѣрой и холодной рѣкѣ тихо-тихо плыветъ ихъ одинокій товарищъ. Ему съ друзьями не летѣть на югъ: у него подшиблено крыло.

Не разъ онъ съ силою взлеталъ однимъ крыломъ; немного подымался и тотчасъ падалъ въ воду. Негодующе кричалъ онъ, стоналъ, метался и, наконецъ, затихъ. Въ отвѣтъ на крикъ сверху онъ посылаетъ снизу вздохи и въ этихъ вздохахъ вся тоска его по югу, скорбь одиночества и грусть за свое безсиліе.

Мнѣ было жалко лебедя. Я вмѣстѣ съ нимъ переживалъ драму подбитаго крыла. Я самъ не разъ пытался высоко подняться къ небу, съ си-

лой взмахивалъ крыломъ, взлеталъ и... падалъ: другое крыло было подшиблено, намокло и тяжелымъ грузомъ влекло къ низу. Я сидѣлъ и тихо вздыхалъ.

Съ эстрады ко мнѣ неслись все новые и новые вздохи. Они становились тише и замирали гдѣ-то глубоко у меня въ сердцѣ. Мнѣ становилось легче. Я чувствовалъ, что я страдаю не одинъ, что подлѣ меня есть геніальная великая душа, что она съ сострадательною любовью смотритъ на мое больное сердце и подъ ея нѣжною ласкою моя грусть становилась мягче.

Мнѣ вдругъ показалось, что вся музыкальная душа Чайковскаго—это одна безцѣнная громадная художественной работы нѣжная тонкаго фарфора ваза. Она вся наполнена душистымъ мѵромъ и сверху герметически закупорена. Вдоль ея идетъ трещина; легкая, тонкая, какъ волосокъ, едва примѣтная, но во всю вазу трещина. Сквозь эту трещину росинками просасывается мѵро, стекаетъ внизъ и падаетъ тяжелой каплей. Отъ каждой капли воздухъ густо насыщается ароматомъ. То ароматъ геніальной поэтической души.

Кончилась симфонія. Я ушелъ, не дождавшись второго отдѣленія. Я весь былъ подъ впечатлѣніемъ только что пережитой, поэтически прочувствованной „лебединой“ драмы. Капля генія Чайковскаго до краевъ наполнила всю чашу моей души и я боялся, чтобы новая пьеса какъ нибудь не расплескала драгоцѣнное мѵро во мнѣ.

У выхода я встрѣтился съ знакомымъ французомъ, профессоромъ французской литературы въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній Петербурга. Онъ также уходилъ.

— Довольно, — говорилъ онъ, здороваясь. — Больше не хочу, ни Вагнера, ни Мендельсона. Они меня сильнѣе не согрѣютъ, а развѣ только развлекутъ.

Затѣмъ, остановившись на секунду, онъ спросилъ:

— Скажите, что вы за народъ такой, русскіе? Двадцать лѣтъ живу среди васъ и не могу понять. Холодно тутъ у васъ. Надъ головой вѣчно хмурое, сѣрое, какъ солдатское сукно, небо, а подойдешь къ вамъ ближе, заглянешь вамъ въ сердце, у самого станетъ свѣтло на сердцѣ, тепло на душѣ. Затѣмъ невѣжественны вы, грубо некультурны на нашъ взглядъ: не умѣете толкомъ ни работать, ни веселиться. У васъ подлѣ университетскихъ городовъ, какъ, напримѣръ, подлѣ Казани, живутъ цѣлыя племена язычниковъ. Въ исконныхъ русскихъ областяхъ, въ Псковскомъ и Новгородскомъ краѣ, вѣетъ еще глушью и дичью временъ Гостомысла. Дана вамъ богатѣйшая страна, а вы живете впроголодь. Зло беретъ на васъ смотрѣть. Досадно на вашу безтолочь. Хочется васъ бранить, хочется бить, а все таки тянетъ къ вамъ. Есть въ васъ что-то, что насъ, людей болѣе, чѣмъ вы, культурныхъ націй, дѣлаетъ лучше отъ близости къ вамъ, смягчаетъ; если можно такъ сказать, очеловѣчиваетъ, подымаетъ выше, приближаетъ къ „сверхчеловѣку“. Сейчасъ, вѣдь, вотъ, вашъ Чайковскій залѣзъ ко нѣ въ душу и докопался гдѣ-то тамъ до самыхъ учшихъ моихъ чувствъ; заставилъ меня перетить лучшіе моменты молодости, словно помолодилъ меня, помылъ меня душистой росой. Я у

себя все время въ сердцѣ перебиралъ пережитое, какъ будто передо мной былъ завѣтный ящикъ, гдѣ сложены всѣ дорогія мнѣ письма, письма моей первой искренней, потомъ уже не повторявшейся любви. Бралъ я эти письма, перечитывалъ ихъ съ тихой грустью строку за строкой и потомъ медленно съ затаеннымъ вздохомъ откладывалъ въ сторону. И сколько было писемъ, столько было вздоховъ, а письма тѣ были—мечты моей давней свѣтлой юности.

Откуда въ васъ, въ вашихъ талантахъ, въ вашей поэзіи и въ вашей музыкѣ такая власть надъ человѣческой душой?—недоумѣвалъ французъ.

Мнѣ не хотѣлось философствовать и разсуждать. Я коротко отвѣтилъ:

— Когда-нибудь до слѣдующаго раза. Знаете, у насъ, русскихъ, есть обычай: на Страстной недѣлѣ изъ церкви нести домой горящую свѣчу, бережно охраняя, чтобы ее не задуло вѣтромъ. У насъ съ вами сейчасъ то же горитъ внутри свѣча. Не будемъ говорить на вѣтру. Пойдемъ потихоньку домой.

Мы дошли до угла и простились.

Тогда я промолчалъ на вопросъ француза, а теперь бы отвѣтилъ ему, что власть русскаго таланта надъ человѣческимъ сердцемъ такъ велика потому, что русскій талантъ самъ болѣе, чѣмъ какой нибудь иной, живетъ сердцемъ, что онъ на всѣ впечатлѣнія жизни отзывается прежде всего сердцемъ и цѣнитъ жизнь преимущественно со стороны сердца.

У меня есть знакомые мальчикъ и дѣвочка, милыя дѣти, удивительно добрыя и чуткія натуры.

Они, когда имъ говорятъ или читаютъ о новомъ лицѣ, будь это или историческій общественный дѣятель, или мыслитель, ученый, литературный типъ, или простой знакомый, обычно спрашиваютъ всегда одно:

— А онъ добрый?

Они къ человѣку подходятъ прежде всего со стороны сердца, цѣнятъ въ немъ больше всего доброту и въ жизни съ особой остротой чувствуютъ отсутствіе не просвѣщенія, и не матеріальнаго благополучія или политическаго благоустройства, а именно отсутствіе добра. Такъ и русскій талантъ. Онъ въ жизни ищетъ прежде всего „добра“ и мучительно тяготится скудостью его въ людяхъ и въ себѣ самомъ.

Общечеловѣческая міровая драма, драма вѣчной борьбы добра со зломъ въ людяхъ, русскимъ человѣкомъ чувствуется и переживается съ особой силой.

Наши славянофилы любили повторять и пытались доказывать, что русскій народъ имѣетъ особое провиденціальное назначеніе, что на немъ лежитъ мессіанское служеніе, что онъ одинъ только воплотилъ полностью Христа и призванъ этого Христа показать остальнымъ народамъ.

— Русскій народъ—народъ Богоносецъ,—говорили славянофилы.

Такое опредѣленіе нескромно, звучитъ бахвальствомъ, національнымъ самомнѣніемъ и совершенно невѣрно. Глубокій психологъ, Достоевскій, не какъ случайную, но какъ основную черту руской души, подмѣтилъ и ярко изобразилъ карамазовщину, а съ примѣсью стихійной карамазовской

животной силы народу не пристало себя считать Богоносцемъ: въ немъ еще глубоко и прочно сидитъ „звѣрь“.

Но если нельзя русскій народъ назвать носителемъ Бога, Богоносцемъ, то, несомнѣнно его можно и должно признать искателемъ Бога. Если русскій народъ, выражаясь языкомъ того же, Достоевскаго, видитъ у себя подъ ногами бездну зла, то онъ же, съ другой стороны, видитъ и бездну добра и изъ первой мучительно ищетъ перехода въ другую. Возьмите Іоанна Грознаго. Вотъ вамъ типичный представитель разнузданной русской карамазовской силы, который, однако-же, трепещетъ окружающей его „бездны“ зла. Онъ творитъ ужасы, доходитъ до крайнихъ предѣловъ жестокости и нравственнаго распутства, но онъ мучительно стремится и подняться надъ этой бездной зла, взлетѣть на вершину. Онъ недаромъ послѣ страшныхъ казней и сценъ гнуснаго разврата молился цѣлыми ночами, клалъ сотнями земно поклоны, бился объ полъ лбомъ до синяковъ, до ранъ и послѣ такой молитвы снова шелъ на казни, снова предавался отвратительной оргіи. Это въ широкой груди, „на огромномъ озерѣ“ металось и билось большое „лебединое“ сердце, у котораго не одно, а два крыла были подбиты и у котораго тѣмъ мучительнѣе была драма попытокъ летѣть на „*югъ*“.

Въ кіевскомъ патерикѣ есть потрясающій разсказъ объ одномъ подвижникѣ, святомъ Іоаннѣ многострадальномъ. Изнемогши въ нравственной борьбѣ съ карамазовскимъ звѣремъ въ себѣ, Іоаннъ, боясь, что ему не удержаться на должной

высотѣ, не улетѣть на „югъ“, велитъ закопать себя по шею въ землю.

Если оказывается непосильнымъ перекинуть черезъ бездну зла мостъ напряженіемъ воли, то Іоаннъ пытается хоть землей засыпать эту бездну.

Въ темной маленькой келейкѣ Іоанна происходила большая драма. Здѣсь имѣла мѣсто чисто библейская, глубокая по замыслу и могучая по выполненію картина. Въ Библіи говорится, какъ однажды Іаковъ всю ночь до разсвѣта боролся съ Богомъ и съ того времени былъ прозванъ „Израиль“, что значитъ „Богоборецъ“. Въ сердцѣ Іоанна не одну ночь до разсвѣта, а долгіе мѣсяцы напролетъ шла неустанная борьба, боролась карамазовщина съ Богомъ.

Я смѣю полагать, что въ сравненіи съ этой драмой въ печерской кельѣ Іоанна всѣ наши драмы, которыя происходятъ въ будуарахъ, въ салонахъ и на подмосткахъ театральныхъ сценъ,— жалкій младенческій пискъ въ сравненіи съ могучими раскатами грома, слабая вспышка сѣрной спички въ сравненіи съ яркимъ сверканіемъ молніи, которая вдругъ освѣжаетъ и очищаетъ воздухъ. А сколько сотенъ, тысячъ, десятковъ тысячъ такихъ драмъ, намъ могли бы повѣдать дебри лѣсовъ, своды тѣсныхъ келій и темныхъ пещеръ!

— Но уйдешь отъ людей, а отъ себя не спрячешься ни въ какихъ пещерахъ и кельяхъ,—говоритъ Тихонъ Задонскій, чудное сердце котораго сіяетъ дорогимъ алмазомъ рѣдкой игры и чистоты въ вѣнцѣ русскаго народнаго духа. Поэтому и ареной „лебединой“ драмы, борьбы карамазовщины съ Богомъ, служатъ не однѣ только дебри,

пещеры и кельи. Бьются лебединыя крылья и въ сердцахъ милліоновъ остального русскаго народа. Тихіе стоны и глубокіе скорбные вздохи время отъ времени проносятся съ отдѣльныхъ заводей и по всей русской землѣ.

Я позволяю себѣ утверждать, что наша мятущаяся народная душа успокоится не тогда, когда русскій „двуглавый орелъ“ могуче распластаетъ свои крылья во всю ширь и ихъ тѣнью прикроетъ полміра: и теплый Босфоръ, и царство Дарія, и берегъ Ганга, а тогда, когда въ ней высоко подымется надъ карамазовщиной на *обоихъ* крыльяхъ свѣтлый „лебедь“ и съ громкимъ радостнымъ крикомъ полетитъ на „югъ“.

Я не хочу сказать, что свѣтлый порывъ къ „югу“ и лебединая драма „подбитаго крыла“ есть достояніе одного лишь русскаго сердца. Нѣтъ, я говорилъ уже, что борьба добра и зла есть общечеловѣческая міровая драма, драма всѣхъ странъ, народовъ и временъ. Я хочу отмѣтить только то, что пока, въ данный моментъ эта драма съ особой силой и остротой переживается русскимъ народомъ, что наша народная душа есть тотъ именно уголокъ общечеловѣческой арены, гдѣ слышатся болѣе сильные, чѣмъ въ иномъ мѣстѣ, стоны, вырываются изъ груди болѣе мучительные вздохи. Очевиднымъ и убѣдительнымъ показателемъ этого служитъ, по моему мнѣнію, та тяжелая внутренняя драма, которую обычно неизбѣжно переживаетъ всякій русскій писатель, художникъ слова, не порвавшій тѣсной органической связи съ народной стихіей.

Всякій писатель-художникъ, выразитель народ-

ныхъ думъ и настроеній, есть тотъ ароматъ народной души, по которому чуткій носъ, человѣкъ съ чутьемъ издали узнаетъ чѣмъ отдаетъ душа народа, скошеннымъ-ли сѣномъ луговъ, топливомъ жилья, угольнымъ дымомъ фабрики, плодовымъ садомъ или навозомъ конюшни. Судя съ этой стороны по отличительнымъ особенностямъ русскаго художественнаго творчества, приходится сказать, что характерною чертою, вообще, русскаго народа является его религіозность, исканіе Бога въ себѣ, въ людяхъ и въ жизни, стремленіе къ высшему нравственному совершенству, преимущественная борьба не за свободу внѣшнюю, политическую, а за свободу внутреннюю, духовную, за свободу отъ звѣря въ себѣ.

Въ зависимости отъ этого, роль писателя художника въ русскомъ обществѣ пріобрѣтаетъ свое особое, священное значеніе, что неизбѣжно влечетъ за собою въ судьбѣ писателя то „роковое“, о которомъ говорилъ Некрасовъ.

III.

Драма русскаго писателя.

Писатель въ истинномъ смыслѣ слова есть своего рода увеличительный оптическій аппаратъ, предназначенный собирать въ себѣ, въ своей душѣ, какъ въ фокусѣ, всѣ разсѣянные въ обществѣ свѣтлые лучи и затѣмъ однимъ общимъ сильнымъ лучемъ согрѣвать, воспламенять и освѣщать все, на что онъ ни будетъ направленъ.

Въ общественномъ сознаніи, каково-бы оно ни было, всегда неизбѣжно, какъ цвѣточная пыль въ воздухѣ, носятся смутные, порой неуловимые порывы и стремленія къ „свѣту", къ „югу", къ высшей правдѣ, къ торжеству добра. Душа писателя всю эту дорогую „пыль" должна собрать, впитать въ себя, оплодотвориться ею, или ее собой оплодотворить, выносить у себя подъ сердцемъ и затѣмъ въ готовой и прекрасной формѣ произвести на свѣтъ.

Такимъ образомъ, творчество писателя, по крайней мѣрѣ, писателя русскаго, какъ оно понималось лучшими представителями нашей литературы, есть не исканіе только художественной формы, не погоня лишь за интригой, любопытной и занятной

фабулой, а прежде всего тяжелые и мучительные роды, роды того новаго святого слова, которое само полно жизни и можетъ дать жизнь другимъ.

Два главныя свѣтила русской поэзіи, Пушкинъ и Лермонтовъ, не случайно оставили по стихотворенію „Пророкъ". Это знаменательный фактъ. Пророкъ—прорицатель, „проницатель" человѣкъ, проницающій въ глубокій сокровенный, таинственный, другимъ невѣдомый, великій смыслъ бытія. Это—человѣкъ, у котораго

„Какъ у испуганной орлицы,
Открылись вѣщія зѣницы

и который видитъ „незримое" толпой, слышитъ

„Горные напѣвы",

недоступные слуху простыхъ смертныхъ.

По Пушкину и Лермонтову, писатель-пророкъ есть то же, что ветхозавѣтный первосвященникъ для избраннаго Божія народа. Въ минуты вдохновенія онъ проникновеннымъ ухомъ внимаетъ у края завѣсы во Святое Святыхъ откровенію свыше и вѣщаетъ затѣмъ волю Бога людямъ, всему народу, а чрезъ него и человѣчеству.

Такъ понималось призваніе писателя въ русской литературѣ на первыхъ порахъ ея пышнаго расцвѣта. Такъ понимается истинными талантами оно и теперь. У Горькаго есть маленькій прелестный разсказъ „Читатель". Этотъ разсказъ даетъ мнѣ силу вѣрить, что Горькій своимъ крупнымъ галантомъ и здоровымъ русскимъ нутромъ вырвется изъ тѣснаго ницшеанскаго башмака и найдетъ вѣрную дорогу. Нѣсколько лѣтъ тому на-

задъ, еще незнакомый съ этимъ разсказомъ, я съ горечью говорилъ однажды Горькому:

— Искалѣчатъ васъ петербургскіе журналисты, какъ у китаянокъ калѣчатъ ноги. Не слушайте вы ихъ ни марксистскихъ, ни ницшеанскихъ рецептовъ. Пишите, какъ вамъ Богъ на душу положитъ. Прислушивайтесь къ тому, что вамъ говоритъ вашъ самородный русскій талантъ, какъ Сократъ слушалъ только своего внутренняго „деймона", внутренній голосъ божества. Ницшеанскій башмакъ совсѣмъ не по ногѣ вамъ, русскому богатырю. Вы вышли непосредственно изъ нѣдръ могучаго духовно русскаго народа. Вынесли оттуда съ собой, несомнѣнно, громадный запасъ родной творческой силы и имѣете у себя въ душѣ въ зародышѣ рядъ чисто-*русскихъ* образовъ, идей и настроеній. Выразите съ надлежащей силой и яркостью ихъ. Своимъ исключительнымъ стихійнымъ талантомъ покажите мощь и красоту души родного народа. Не торгуйте чужимъ, нѣмецкимъ, взятымъ на коммиссію отъ Ницше, зерномъ, а, какъ новый Микула Селяниновичъ, глубже запускайте соху въ „цѣлину" русской души и будите въ ней, вызывайте къ жизни скрытыя пока тамъ зиждительныя силы. Не будьте *подголоскомъ*, а пойте своимъ голосомъ, сложите, если можете, свою пѣсню. Идите своею собственной дорогой и, главное, прокладывайте новый лучшій путь.

Горькій, вмѣсто отвѣта, досталъ разсказъ „Читатель" и въ какихъ-нибудь 15—20 минутъ прочелъ. Я понялъ отвѣтъ и сказалъ:

— Теперь не боюсь за васъ. Весь вы ни въ

какой башмакъ не влѣзете. У васъ въ глубинѣ души правильный взглядъ на свое призваніе.

Въ названномъ разсказѣ читатель спрашиваетъ молодого, съ успѣхомъ выступившаго писателя:

— Ты пишешь? А зачѣмъ ты пишешь? Ты громко говоришь толпѣ, а есть ли у тебя, что сказать? Кому ты громко гимнъ поешь? Какому Богу въ сердцѣ строишь алтарь? и есть ли у тебя, вообще, Богъ? Другіе стадомъ идутъ за тобой, какъ за вождемъ, а знаешь ли ты самъ, куда идти?

„Какъ ты будешь вожакомъ.
Коль самъ съ дорогой не знакомъ?

Подобный вопросъ рано или поздно встаетъ передъ каждымъ писателемъ въ глубинѣ его совѣсти и исторія этого вопроса является всегда тяжелою мучительною драмой русскаго писателя. Мнѣ въ данномъ случаѣ всегда припоминается одинъ величественный библейскій образъ. На вершинѣ горы Кармилъ жрецы Ваала и строгій ревнитель славы Іеговы въ Израилѣ, Илія, вожди двухъ различныхъ теченій жизни въ еврейскомъ народѣ той поры, приносили жертвы. Жрецы поставили художественное изваяніе Ваала, воздвигли дорогой жертвенникъ, увили его цвѣтами, сами одѣлись въ пышные наряды и въ шумной пляскѣ съ пѣніемъ гимновъ и многословныхъ риторическихъ молитвъ стали кружиться, ожидая, когда съ неба спадетъ огонь и попалитъ жертву. Кружились часъ, другой и третій; падали въ изнеможеніи, а жертва оставалась и осталась не опаленной.

Тогда Илія взялъ камни, окопалъ ихъ рвомъ, положилъ на камни жертву и сталъ поливать ее водою, пока рвы не наполнились съ краями. Когда жертва намокла такъ, что никакой земной огонь, казалось, не могъ уже ее зажечь, Илія началъ молиться:

— „Ты видишь, Боже, мою душу! Передъ Тобой открыто мое сердце! Я молю у Тебя чуда, прошу небесной силы. Не для того, чтобы себя прославить, но чтобы превознести Твое имя, имя Святости и Свѣта, превыше всѣхъ кумировъ“.

Въ отвѣтъ на краткое моленье Иліи съ неба ниспала молнія, испепелила жертву и высушила и ровъ, и камни.

Всякое произведеніе писателя, вѣрнаго своему призванію, должно быть молитвой пророка Иліи на вершинѣ Кармила. Пусть сердце читателя намокло въ житейской грязи, отсырѣло въ промозгломъ туманѣ гнилой дѣйствительности,—выношенное, выстраданное слово писателя-пророка должно это сердце осушить, отрясти съ него прахъ, сдѣлать чистою, угодной и пріятной жертвой Богу.

Голосъ читателя къ писателю, по крайней мѣрѣ у насъ, въ русскомъ обществѣ, всегда есть крикъ отсталаго въ забытой сонной хмурой заводи лебедя съ подбитымъ крыломъ къ лебедю съ сильными крылами, что летитъ высоко въ небѣ:

— Подыми меня! Дай силы мнѣ взмахнуть обоими крылами! Возьми меня съ собой на „югъ!“.

„Мы сердцемъ хладные скопцы“,—

сознается толпа у Пушкина.

„А ты?—обращается она къ поэту,—
Ты, ближняго любя,
Давай намъ смѣлые уроки
И мы послушаемъ тебя“.

Спросите любого писателя, обладающаго хотя бы въ слабой степени силой „жечь сердца людей глаголомъ“, онъ непремѣнно скажетъ вамъ, что самое большое число писемъ, получаемъ отовсюду отъ читателей, есть общая просьба:

— Научи насъ жить!

Теперь представьте такое положеніе. Всякій знаетъ по себѣ, какъ мучительно досадно бываетъ, когда вспоминаешь нужное слово и не можешь вспомнить. Слово вертится въ умѣ; кажется, само просится на языкъ, а сказать вы все таки не можете. Вы напрягаете память, трете лобъ, жмете себѣ голову, словно хотите выжать, выдавить изъ себя нужное слово, и ничего не выходитъ. Вы сердитесь, готовы плакать отъ досады.

Это состояніе усильте въ сотню, въ тысячу, въ милліонъ разъ. Предположите, что вы у постели близкаго и дорогого вамъ человѣка. Все, что вы любили на землѣ, что дѣлало вамъ жизнь прекрасною, свѣтлою, грѣло васъ, — теперь ждетъ смерти и спасти его можете только вы.

Есть на горной вершинѣ чудодѣйственная трава жизни. Она исцѣляетъ всякіе недуги, но путь къ ней, кромѣ васъ, никто не знаетъ. На гору, вокругъ нея и чрезъ нее много дорогъ и тропинокъ, но къ волшебной и цѣлительной травкѣ ведетъ одинъ таинственный лишь путь и этотъ путь когда-то былъ открытъ или могъ быть открытъ вамъ одному. И близкій дорогой вамъ человѣкъ

теперь съ мольбой въ глазахъ, въ тоскѣ предсмертной смотритъ на васъ. Вы—его единственная, послѣдняя и крѣпкая надежда. А вы?.. Вы страдаете въ душѣ сильнѣй, чѣмъ физически страдаетъ вашъ умирающій больной. Васъ мучаетъ, жжетъ, повергаетъ въ отчаяніе этотъ скорбный молящій взглядъ... Вы позабыли, или могли знать, но не узнали дорогу на вершину, гдѣ растетъ трава жизни, и теперь напрягаете зрѣніе, зорко всматриваетесь въ лежащіе передъ вами и перепутанные широкіе и узкіе, прямые и кривые пути, ломаете руки и голову и видите только одно: „Это не то; не этою дорогой можно найти нужную траву. Ни той, ни этою дорогой, ни пятой, ни десятой, ни сотою, ни тысячной не слѣдуетъ идти. Онѣ лишь въ сторону, все дальше и дальше уводятъ вершины, гдѣ растетъ трава“.

А гдѣ же дорога на вершину? Всѣ ждутъ, что вы ихъ поведете туда, а вы, кому сильнѣе, чѣмъ всѣмъ остальнымъ вмѣстѣ, хотѣлось бы быть теперь на вершинѣ, вы сами, безпомощный, убитый горемъ, озираетесь кругомъ, въ тупомъ отчаяньи сознавая: „на удачу туда не набредешь!“

— Представьте, если можете, это состояніе души и вы поймете ту драму, которую переживаетъ писатель и которая заставила Некрасова съ мучительной тоской сказать:

„Братья-писатели, въ нашей судьбѣ
Что-то лежитъ роковое“.

У Владиміра Соловьева есть двѣ замѣчательныя, къ сожалѣнію, плохо понятыя и мало читаемыя, статьи: „Судьба Пушкина“ и „Судьба Лермонто-

ва". Это статьи пророческаго характера и русскому обществу въ массѣ до нихъ надо еще дорости.

Въ статьѣ о Пушкинѣ Соловьевъ говоритъ, что нашъ великій поэтъ погибъ не отъ той семейной драмы, которая происходила подлѣ него, а отъ драмы внутренней, которая имѣла мѣсто въ немъ самомъ, внутри его, въ его сердцѣ. Поэтъ понималъ, что ему данъ великій даръ „глаголомъ жечь сердца людей", что онъ призванъ лирой „чувства добрыя въ народѣ пробуждать" и что онъ рожденъ

„Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ",

но для служенья вдохновеньемъ,

„Для звуковъ сладкихъ и молитвъ".

Его великая душа чувствовала за собой широкія и мощныя крылья орла. Ее отъ пошлой земли съ ея „суетными забавами", гдѣ „жизнь — пустая и глупая шутка", неудержимо влекло въ высь, „во области заочны", но эти могучія крылья часто висѣли безсильными, отягощенныя житейской пылью и утомленныя „забавами суетнаго свѣта". Тогда орелъ, житель вершинъ, томился земнымъ прахомъ, задыхался въ немъ. Его сердце судорожно билось, рвалось на волю и, наконецъ, усталое на вѣкъ замолкло.

— Сердце Пушкина перестало биться не отъ дуэльной пули,—заключаетъ свою статью о судьбѣ Пушкина Соловьевъ,—а отъ той отравы, которую с ъ, посланникъ неба, хлебнулъ изъ мутной чаши я зни на землѣ.

Въ статьѣ „Судьба Лермонтова“ Соловьевъ еще яснѣе и сильнѣе говоритъ не только о правахъ таланта, генія, но и о его обязанностяхъ, о томъ долгѣ служенія людямъ, который принимаетъ на себя всякій геній вмѣстѣ съ печатью помазанія на челѣ.

— Царскій вѣнецъ, украшающій чело, — какъ бы такъ говоритъ Соловьевъ,—несетъ съ собою болѣе высокія и священныя обязанности, чѣмъ коробъ съ нитками и галантереей за плечами, или пастушескій посохъ въ рукахъ.

„Кому много дано, — приводитъ онъ далѣе евангельское слово,—съ того много и спросится“.

Лермонтовъ, геній поэзіи, задолго до рожденія, въ надзвѣздныхъ мірахъ слышалъ „горніе напѣвы“ и посланъ былъ на землю эти „звуки небесъ“ пропѣть людямъ; но здѣсь на землѣ увлеченный опьяняющими, какъ одуряющій ароматъ цвѣтка, пѣснями грѣшной земли, поэтъ забылъ „звуки небесъ“. Они смутно, какъ слабый отголосокъ дальняго эхо—звучали въ его душѣ, будили неясную тоску о небѣ и звали его куда-то на свободу изъ этой душной темницы пошлости, въ какую попалъ геній на землѣ, но поэтъ только томился этими смутными порывами.

Есть поэтическая сказка, какъ юноша попалъ въ міръ грезъ и здѣсь полюбилъ чистую, свѣтлую Мечту. Онъ клялся ей въ вѣчной любви и обѣщалъ жить неразлучно вмѣстѣ. Наканунѣ свадьбы онъ захотѣлъ сходить домой, проститься,

— Не ходи, забудешь!—говорила Мечта.

— Тебя забыть? Мою Мечту? — усмѣхнулся юноша.—Развѣ это возможно?

Пришелъ домой. Лицо ясное, глаза свѣтлые, взоръ ласковый и проницающій каждому въ душу. Обрадовались всѣ юношѣ, стали ласкать. Пошли пиры, забавы, шумное веселье. Вездѣ юноша желанный гость. Забылъ мечту. Полюбилъ другую, на землѣ. Стали готовить свадьбу. Во время свадебнаго пира, въ разгарѣ веселья къ окну въ образѣ птички прилетѣла стосковавшаяся по юношѣ Мечта и запѣла ему пѣсню о свѣтломъ мірѣ грезъ. Никто не слушалъ и не понималъ той пѣсни, но въ юношѣ она всколыхнула что-то забытое и дорогое. Онъ затуманился. Пиръ не веселилъ его, былъ ему противенъ. Все опостылѣло ему. Его душа, какъ узникъ рвалась на волю, но не имѣла силъ вырваться изъ охватившихъ ее путъ.

„И долго на свѣтѣ томилась она,
Желаніемъ *смутнымъ* полна“.

Это томленіе, тоска „по родинѣ“, безсильный порывъ на „югъ“ были мучительною драмой Лермонтова. Онъ метался какъ раненый звѣрь въ клѣткѣ, злобно рычалъ на всѣхъ, сыпалъ на право и налѣво злыми насмѣшками и эпиграммами, злобно кидался на правыхъ и виноватыхъ.

„Онъ мятежный ищетъ бури,
Какъ будто въ буряхъ есть покой“.

Да, для Лермонтова въ буряхъ покой. Буря извнѣ помогаетъ ему забыть бурю внутри себя.

Его муза зоветъ къ себѣ, Мечта поетъ за окномъ:

„Умчимся туда, гдѣ вольныя птицы да я“,

у него крылья висятъ безсильныя. Онъ не можетъ ни самъ летѣть на „югъ“, ни тѣмъ болѣе

поднять другихъ. Видя людей жалкими червями, самодовольно кишащими на навозной жижѣ, онъ не умѣетъ отрастить имъ крылья. Онъ только возмущается и негодуетъ:

„О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ
И дерзко бросить имъ желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью“.

Эта горесть и злость и убили великаго поэта.

„Онъ ушелъ отъ насъ, не выплативъ всего лежащаго на немъ долга, — пишетъ о Лермонтовѣ Соловьевъ. — Скажемъ ему за то, что онъ далъ, великое спасибо; но нашей молодежи, тѣмъ птенцамъ, которые пока еще въ гнѣздѣ или только учатся летать, но изъ которыхъ могутъ вырости орлы, будемъ твердить, что „орлы“ должны жить на „вершинахъ“ и своимъ клекотомъ намъ, людямъ гнилой и туманной земли, постоянно напоминать о чистой и безоблачной выси“.

Юноша, пришедшій къ намъ изъ міра грезъ, пусть ради сѣрой дѣйствительности не забываетъ свою Мечту и намъ, вмѣсто скучныхъ пѣсенъ земли, пусть громко и свободно пропоетъ тѣ горніе напѣвы, что слышалъ онъ въ надзвѣздныхъ мірахъ.

Ту же тяжелую драму души находимъ мы и у другихъ писателей. Эта драма намъ многое объясняетъ, что иначе кажется непонятнымъ или ложится какъ будто нежелаемымъ темнымъ пятномъ на то или другое дорогое, любимое имя.

Въ біографіяхъ многихъ нашихъ писателей мы нерѣдко встрѣчаемъ тяжелыя страницы, которыя хотѣлось бы вычеркнуть, вырвать, забыть. Десятки

крупныхъ именъ загубили свой талантъ и здоровье и жизнь въ чашѣ вина; тотъ проводилъ ночи и дни за азартной картежной игрой или устраивалъ дорогія охоты, проливая слезы о народной нищетѣ; этотъ былъ хмуръ, вѣчно озлобленъ. Все это мученики внутренней, душевной драмы.

Ты высоко сидишь на вершинѣ, громко и ясно кричишь о свѣтломъ „югѣ", а когда снизу, изъ сѣрой и холодной заводи тысячи лебедей съ подбитымъ крыломъ откликаются.

— Полетимъ! Возьми насъ! Подыми!—ты чувствуешь, что твои собственныя крылья висятъ плетью. Тогда поневолѣ будешь угрюмъ, какъ осень; захочешь какъ-нибудь уйти отъ себя, станешь искать забвенья или на днѣ стакана, или въ азартѣ крупной ставки, или въ рискѣ схватки съ медвѣдемъ одинъ на одинъ, или, какъ Гоголь, дойдешь до мучительной душевной болѣзни, которая сведетъ тебя безвременно въ могилу.

Эта послѣдняя драма, драма Гоголя, особенно интересна въ данномъ случаѣ и потому мы на ней остановимся подробнѣе.

IV.

Драма Гоголя.

Я былъ у синихъ волнъ Адріатическаго моря. Передъ глазами вѣчно спокойный, отовсюду защищенный горами Фіумскій заливъ. На берегу его подъ охраной ската холмовъ пріютилась Аббація,—тихій благоустроенный купальный курортъ. Дома всѣ въ зелени, въ садахъ. Горы кругомъ покрыты лѣсомъ.

Къ вечеру, когда спадетъ жара и съ моря, нѣжно шелестя крылами, начнетъ васъ освѣжительно ласкать мягкій теплый вѣтеръ, вы размягчаетесь отъ этой ласки и весь отдаетесь сладкимъ грезамъ. Такія минуты оставляютъ въ сердце благотворный слѣдъ, затрогиваютъ поэтическія струны.

Насъ здѣсь случайно собралось нѣсколько русскихъ. Двое прекрасно играли на віолончели и на рояли, а у третьяго былъ мягкій бархатный голосъ. Какъ-то вечеромъ они устроили концертъ. Днемъ я много бродилъ лѣсомъ по холмамъ, думая о „Жизненной драмѣ Гоголя“, и теперь, сидя на верандѣ сада надъ моремъ, пріятно отдыхалъ. Воздухъ былъ густо напоенъ туберозой. Вдали въ Фіуме, привѣтливо загорались сотни огоньковъ

Справа, съ другого конца Аббаціи, изъ сада, моремъ доносились смягченные далью замирающіе звуки оркестра.

Я залюбовался картиной засыпающаго дня и не слышалъ приготовленій нашего музыкальнаго тріо въ сосѣдней комнатѣ. Вдругъ ударилъ рояль и голосъ съ віолончелью запѣли:

„Въ двѣнадцать часовъ по ночамъ
Изъ гроба встаетъ барабанщикъ
И медленно бьетъ онъ тревогу".

Я вздрогнулъ. Низкіе басовые звуки охватили меня; словно окутали густымъ покрываломъ и унесли куда-то далеко. Я забылъ и сады съ туберозами, и море съ огнями, и моихъ милыхъ артистовъ. Я очутился за тысячи верстъ отъ Аббаціи, Я былъ на хуторѣ близь Диканьки. Надо мной, высоко въ небѣ, ярко сіяли звѣзды, а полный ясный мѣсяцъ заливалъ блѣднымъ свѣтомъ и усыпленную теплой ночью Диканьку, и окрестныя поля съ хуторами.

На колакольнѣ старый пономарь пробилъ двѣнадцать. Съ послѣднимъ ударомъ колокола за околицей вдругъ появился, словно выросъ изъ земли, человѣкъ. Съ длиннымъ острымъ носомъ, съ лукавою улыбкой на тонкихъ губахъ и съ глубокой затаенной грустью въ очахъ, онъ тихо. усталою походкой шелъ въ поле и мѣрно, разъ за разомъ съ силой ударялъ себя въ грудь. Удары гулко разносились среди полночной тишины олей и наполняли мое сердце смутною тревогой...

„Встаютъ усачи-гренадеры
Съ равнины, гдѣ Эльба шумитъ",—

пѣло тріо, отбивая мѣрный топотъ идущей пѣхоты, и передо мной вдали кругомъ вставали какія-то воздушныя тѣни. Эти тѣни неслись къ человѣку съ скорбною улыбкой, густѣли, принимали ясный обликъ и строились передъ нимъ рядами...

„Идетъ императоръ по фронту",—

неслось ко мнѣ сквозь открытыя окна, и я видѣлъ, какъ полночный диканьковскій гость переходилъ отъ одного ряда къ другому, пристально всматривался каждому въ лицо.

Лица были знакомыя; собраніе пестрое и на первый взглядъ смѣшное. Вотъ съ ухарскимъ, залихватскимъ видомъ, сильно навеселѣ Ноздревъ; на него косо, съ опаской поглядываетъ Коробочка, бережно пряча что-то въ громадный ридикюль. Дальше сконфуженно закрываетъ платкомъ носъ маіоръ Ковалевъ. За нимъ въ откровенномъ костюмѣ Адама грузная фигура Довгочхуна изъ Миргорода. Тутъ же цѣлая группа растерявшихся чиновниковъ, героевъ „Ревизора" изъ послѣдней картины. Съ краю скромно стоятъ, что-то прожевывая беззубыми ртами, съ безобидными наивными лицами Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна. За ихъ спинами робно притулился въ старомъ „капотѣ" Акакій Акакіевичъ, боясь, какъ бы его и здѣсь не осмѣяли, не устроили ему обидной шутки.

На другой сторонѣ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, во фракѣ наваринскаго дыма съ искрой, въ компаніи съ Маниловымъ, Собакевичемъ, капитаномъ Копейкинымъ, Плюшкинымъ, Хлестаковымъ

и дамами, пріятными просто и во всѣхъ отношеніяхъ. За ними во второмъ ряду столичный лакей Осипъ просвѣщаетъ чичиковскихъ Петрушку и Селифана.

Тѣни стояли длинными рядами, представляя изъ себя безконечное разнообразіе человѣческой пошлости, тупости и пустоты. И все это было законченное, рѣзко опредѣленное. Надъ каждою тѣнью читалось: „мнѣ имя—легіонъ“.

Взглянулъ сначала на это собраніе вызвавшій ихъ всѣхъ на смотръ Великій Ревизоръ и громко разсмѣялся; но потомъ, что болѣе всматривался въ каждое отдѣльное лицо, то болѣе туманился. Смѣхъ затихъ. Лицо подернулось серьезной думой.

А тѣни все летятъ, собираются, ростутъ новыми рядами. И дальше, и дальше идетъ Ревизоръ. Улыбки нѣтъ ужъ и слѣда. Глаза заволоклись слезами. Наконецъ не выдержало сердце. Махнулъ Ревизоръ тѣнямъ рукою, обезсиленный сѣлъ и громко зарыдалъ:

— Русь! Моя бѣдная Русь! Это ты! Вся ты тутъ предо мною!..

Я вспомнилъ слова самого Гоголя изъ „Мертвыхъ душъ“.

— Русь! Чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты такъ и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ обратило на меня полныя ожиданія очи?.. И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу осѣнило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онѣмѣла мысль передъ твоимъ пространствомъ. Что пророчитъ сей необъятный про-

сторъ? Здѣсь-ли, въ тебѣ-ли не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему?

Немного дальше, въ тѣхъ-же „Мертвыхъ душахъ“ Гоголь пишетъ:

Можетъ быть, въ сей-же самой повѣсти почуются иныя, еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божескими доблестями, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертва книга передъ живымъ словомъ. Подымутся русскія движенія... и увидятъ какъ глубоко заронилось въ славянскую природу то, что скользнуло только по природѣ другихъ народовъ... Но къ чему и зачѣмъ говорить о томъ, что впереди?

Сопоставленіе будущаго,—того, что впереди, и настоящаго,—того, что на лицо, и составляетъ основу жизненной драмы Гоголя. Гоголь горячо вѣритъ въ свѣтлое будущее родины. Онъ чуетъ въ родномъ народѣ неизсякаемый запасъ не только физическихъ, умственныхъ, но и нравственныхъ силъ. По его глубокому убѣжденію, русская душа— это родникъ, способный утолить духовную жажду всѣхъ остальныхъ народовъ. Но это — дѣло будущаго; это все впереди. Теперь-же, пока, совсѣмъ иное. Картина наличной дѣйствительности слишкомъ далека отъ грядущаго, свѣтлаго будущаго.

Великій авторъ „Ревизора“ былъ самъ „Великимъ Ревизоромъ“ современной русской жизни. Онъ вызвалъ на смотръ передъ собой всю Русь и, какъ художникъ въ своемъ „Портретѣ“, самъ ужаснулся созданныхъ своей рукою образовъ.

— Подымутся русскія движенія,—пишетъ Гоголь, — и мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертва книга передъ живымъ словомъ!

Но пока сама Русь, не въ ревизскихъ только сказкахъ, а въ живой наличности, въ своихъ сынахъ, во всемъ своемъ народѣ—мертвыя души.

— Чѣмъ люди живы?—спрашиваетъ на своемъ смотру русскую современность „Великій Ревизоръ“.—Къ чему они стремятся? Куда полетъ свой держатъ? Высоко-ль и свободно-ль рѣютъ въ небѣ? Видятъ-ли свѣтлый югъ? Туда-ль несутся? Манятъ-ли за собой другихъ?

Ревизія даетъ грустный отвѣтъ. „Носъ“, „Старосвѣтскіе помѣщики“, „Шинель“, „Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ и, наконецъ „Мертвыя души“— все это грустныя сказанія о мертвой спячкѣ живой русской души.

Начните съ самой, казалось-бы, смѣшной и даже нелѣпой повѣсти „Носъ“.

У маіора Ковалева пропалъ носъ и въ этомъ страшная для него трагедія жизни. Такихъ маіоровъ Ковалевыхъ сотни, тысячи, легіоны.

Для нихъ отсутствіе носа на лицѣ—величайшее несчастіе жизни, а отсутствіе ума въ головѣ и совѣсти въ сердце ни мало не смущаетъ ихъ. Умъ еще, впрочемъ, многимъ необходимъ хотя бы для

того, чтобы лучше устроиться на куриномъ насѣстѣ, но внутренняя порядочность, нравственное чутье, порывы въ высь, крылья для полета къ югу,—тысячамъ и милліонамъ они совершенно ни къ чему въ жизни! Люди прекрасно обходятся безъ нихъ и не видятъ въ этомъ никакого уродства, человѣческаго безобразія. Это не то, что отсутствіе носа, какъ у маіора Ковалева!

У Гюго въ его романѣ „Человѣкъ который смѣется“ выведены два бездомныхъ существа Гвинпленъ и Деа, которые нашли пріютъ и выросли у бродячаго акробата и фокусника Урсуса. Гвинпленъ, изуродованный въ дѣтствѣ компрачикосами, похитителями дѣтей, со стороны лица представляетъ нелѣпо-уродливую маску, на которую нельзя смотрѣть безъ смѣха. Деа, наоборотъ, прекрасна, какъ ангелъ, но она слѣпа. Выросши вмѣстѣ, сироты полюбили другъ друга и красавица Деа не могла жить безъ урода Гвинплена. Она смотрѣла на него внутреннимъ зрѣніемъ; цѣнила не его носъ или ротъ, а его душу. Душа же Гвинплена была не земной красоты.

Мы въ массѣ не доросли до способности цѣнить людей, по примѣру слѣпой Деи, по душѣ; мы судимъ больше какъ маіоръ Ковалевъ по носу.

У Гоголя въ „Мертвыхъ душахъ“, есть такая сцена. Чичиковъ при выѣздѣ изъ губернскаго города на поворотѣ одной изъ улицъ встрѣтилъ погребальную процессію. Оказывается, хоронили прокурора. Пришлось остановить бричку. Пока процессія проходила мимо, Чичиковъ думалъ:

— Вотъ прокуроръ жилъ-жилъ, а потомъ и умеръ! И вотъ напечатаютъ въ газетахъ, что скон-

чался, къ прискорбію подчиненныхъ и всего человѣчества, почтенный гражданинъ, рѣдкій отецъ, примѣрный супругъ, и много напишутъ всякой всячины. Прибавятъ, пожалуй, что былъ сопровождаемъ плачемъ вдовъ и сиротъ, а, вѣдь, если, разобрать хорошенько дѣло, такъ на повѣрку, у тебя всего только и было, что, *„густыя брови“*.

У прокурора—густыя брови, у маіора Ковалева—носъ, у Акакія Акакіевича—шинель, у того—вицъ-мундиръ, а у этого шпоры и лосиные штаны въ обтяжку.

Потерялся носъ и пропалъ Ковалевъ, ограбили шинель и умеръ Акакій Акакіевичъ, сняли вицъ-мундиръ и нѣтъ человѣка. Жалкая жизнь и бѣдные люди! Бѣдные внутреннимъ содержаніемъ.

Та же пустота жизни, безсмысленное прозябаніе и въ старосвѣтскихъ помѣстьяхъ, и миргородскихъ домахъ. Люди не живутъ, а прозябаютъ. У Тургенева есть разсказъ „Живыя мощи“, гдѣ говорится, какъ дѣвушка заживо высохла, на подобіе мощей. Гоголю приходится всю современность признать, „Мертвыми душами“, признать, что въ людяхъ все, чѣмъ жизнь жива, спитъ мертвымъ сномъ, что въ нихъ душа умерла еще при жизни тѣла, что во всѣхъ ихъ были задатки лучшей жизни, но что они все это заглушили, не развили въ себѣ.

— Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ!—говоритъ старикъ, купецъ Муразовъ Чичикову въ концѣ „Мертвыхъ душъ“.—Какой бы изъ васъ былъ человѣкъ, если бы такъ же, и силою, и терпѣніемъ да подвизались бы на добрый трудъ, имѣя лучшую цѣль! Боже мой, сколько бы вы надѣлали добра! Если бы хоть кто-нибудь изъ тѣхъ

людей, которые любятъ добро, да употребили бы столько усилій для него, какъ вы для добыванія своей копѣйки, да сумѣли бы такъ пожертвовать для добра и собственнымъ самолюбіемъ и честолюбіемъ, не жалѣя для добыванія своей копѣйки,— Боже мой, какъ процвѣла бы наша земля! Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! Не то жаль, что виноваты вы стали передъ другими, а то жаль, что передъ собой стали виноваты, передъ богатыми силами и дарами, которые достались въ удѣлъ намъ. Назначеніе ваше — быть великимъ человѣкомъ, а вы себя запропастили и погубили".

И когда припомнишь, какъ пòтомъ и кровью, лѣтами трудовъ и лишеній, какимъ геніальнымъ мошенничествомъ Чичиковъ сколачивалъ свою „шкатулку", слова Муразова ничуть не кажутся преувеличенными. Чичиковъ, несомнѣнно, личность недюжинная.

Представьте его полнымъ силъ юношей, со свѣжимъ и гибкимъ умомъ, съ желѣзной волей, и сопоставьте съ тѣмъ, что изъ него вышло, и вы невольно повторите слова Тараса Бульбы надъ убитымъ имъ сыномъ Андріемъ:

— Чѣмъ бы не казакъ былъ? И станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою, а пропалъ безславно, какъ подлая собака!

А развѣ къ одному Чичикову это приложимо? Развѣ всѣ эти Собакевичи, Ноздревы, Дмухановскіе, Перерепенки, Коробочки, Пульхеріи Ивановны и сотни ихъ собратій на смотру „Великаго Ревизора" не могли быть „казаками" въ жизни? не имѣли въ свою пору „крѣпкой" для бою руки?

Развѣ не были они всѣ въ свое время „живыя души?“ И все это погибло. Все умерло, задохлось, сгнило.

Всѣ эти грустные герои напоминаютъ плюшкинскія кладовыя, куда свалено было немало добра, но гдѣ все это становилось гниль и прорѣха, такъ что участники великаго смотра подъ конецъ и сами обратились въ какую-то прорѣху на человѣчествѣ.

— Жизнь удушлива, полна продуктовъ разложенія,—говоритъ „Великій Ревизоръ“; — запасайтесь „кислородомъ“, вырабатывайте, добывайте его больше, не то сами задохнетесь и задушите другихъ...

Но одно дѣло сказать: „добывайте кислородъ“, другое дѣло—добыть. Люди, еще окончательно не уснувшіе, не задохшіеся въ духотѣ, сами ждутъ кислорода, съ мучительной тоской стонутъ: „воздуха! воздуха!“ и напряженно смотрятъ въ очи тому, — кто съ такой силой указалъ на спертую духоту жизненной атмосферы.

— Русь! Чего ты хочешь отъ меня?—спрашиваетъ Гоголь въ „Мертвыхъ душахъ“.—Что глядишь ты такъ и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія?

Воздуха хочетъ, кислорода жаждетъ задыхающаяся въ спертомъ удушьѣ Русь. Она ждетъ знаменія, напряженно ищетъ очами указанія, куда ей идти.

Но Гоголь—не вождь. Онъ только судія, „Великій Ревизоръ“ дѣйствительности. Онъ въ своемъ сердцѣ проанализировалъ химическій составъ общественной атмосферы на Руси и самъ ужаснулся,

и другихъ заставилъ содрогнуться отъ той страшной, подавляющей примѣси продуктовъ разложенія, въ которой задыхалась Русь. Выдѣлить же изъ себя струю чистаго воздуха, выработать кислородъ не могъ. Для этого у него не оказалось запаса нужныхъ матеріаловъ.

Нарисовавъ художественно-мастерски цѣлую галлерею „Мертвыхъ душъ", Гоголь задумалъ книгу о „Живыхъ душахъ", но тутъ встрѣтилъ неудачу. Какъ не пытался, сколько разъ не брался, ничего не выходило. Все было блѣдно, вымучено, лишено жизни, придумано. Гоголь въ отчаяніи рветъ, бросаетъ въ огонь, пишетъ снова и снова неудачно. Великій діагностъ болѣзней русской жизни оказывается неудачнымъ терапевтомъ: видитъ болѣзнь, ясно ее понимаетъ и не въ силахъ излѣчить, не можетъ подыскать нужнаго рецепта. Онъ, какъ могучій титанъ, какъ новый Атлантъ, собралъ въ одну глыбу, въ одинъ громадный шаръ всю пошлость и тупость русской жизни и высоко поднялъ ихъ на своихъ плечахъ передъ общественнымъ взоромъ, но освѣтить эту тьму яснымъ и непреходящимъ свѣтомъ, вдунуть жизнь въ „Мертвыя души", вложить содержаніе въ пустую жизнь ему не было дано.

Гоголь вѣрилъ, что путь русскому народу въ будущемъ одинъ—на свѣтлый „югъ"; былъ убѣжденъ, что у русской души и крылья для этого полета достаточно широки и сильны; видѣлъ, что пока вся Русь плотно засѣла въ гнилой и туманной заводи; хотѣлъ ее поднять, „живымъ" словомъ двинуть впередъ и среди множества словъ своего богатаго художественной красотой языка этого

слова „жизни“ не находилъ. Это его мучило, не давало покоя; дѣлало жизнь Гоголя драмой, довело до тяжелой душевной болѣзни и, наконецъ, до преждевременной могилы.

Подобная драма въ душѣ писателя при обычномъ положеніи вещей была, есть и будетъ неизбѣжной. Одинъ художественный талантъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, въ соединеніи даже съ большимъ запасомъ жизненныхъ наблюденій, сдѣлать писателя вождемъ народа, дать ему силы звать отсталыхъ лебедей съ заводи на „югъ“, не можетъ. Въ лучшемъ случаѣ такой писатель будетъ только расчищать, подготовлять почву для новой жизни. Онъ будетъ предтечей. Строитель же новой жизни, долженъ обладать запасомъ творческой, зиждительной силы, — творческой не въ смыслѣ созиданія новыхъ образовъ, типовъ выхваченныхъ изъ жизни, а въ смыслѣ созиданія новыхъ идей, выработки новыхъ цѣлей, болѣе высокихъ, свѣтлыхъ и могуче-притягательныхъ задачъ жизни. Этого ни природный талантъ, ни вдумчивое наблюденіе текущей жизни не дадутъ. Тутъ требуется нѣчто большее, особое.

V.

Гдѣ выходъ.

Прошло пятьдесятъ лѣтъ со дня смерти Гоголя. Великій авторъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ давно уже сталъ у насъ классическимъ писателемъ, но все то, что составляло его жизненную драму, является по прежнему мучительнымъ и роковымъ вопросомъ у всѣхъ болѣе или менѣе талантливыхъ быто-писателей нашихъ дней, болѣе или менѣе крупныхъ „ревизоровъ“, современной дѣйствительности.

„Гоголевщина“ у насъ жива и доселѣ. Въ недавніе дни поминокъ по Великомъ Ревизорѣ мертвыхъ душъ на Руси мы, къ сожалѣнію, не могли за одно справить и тризну по его героямъ. Гоголевскіе герои не старѣютъ, не уменьшаются въ числѣ. У нихъ по прежнему на челѣ ярко свѣтится подавляющая, гнетущая надпись: „намъ имя легіонъ“. Мы ихъ встрѣчаемъ на каждомъ шагу. Иногда даже наединѣ достаточно самому подойти къ зеркалу, чтобы и тутъ воочію увидѣть то или другое гоголевское лицо.

Безсодержательность жизни, пустота и убожество интересовъ, вся гниль и мертвечина души,

такъ жизненно, въ законченныхъ образахъ воспроизведенныя Гоголемъ, оказались живучѣе его. Живой талантъ Гоголя давно уже замолкъ въ могилѣ, а отмѣченныя имъ „Мертвыя души“ и теперь съ нами. Вокругъ насъ! Въ насъ самихъ.

Начнемъ съ мелочей, съ пустяковъ. Помните! конечно, какъ Гоголь описываетъ обычную жизнь двухъ миргородскихъ друзей, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Одинъ изъ нихъ въ лѣтнюю пору цѣлые дни лежалъ подъ навѣсомъ въ костюмѣ Адама и свое лежанье разнообразилъ только тѣмъ, что время отъ времени требовалъ дыню и съѣдалъ ее. Затѣмъ онъ аккуратно собиралъ всѣ зернышки, завертывалъ ихъ тщательно въ бумажку, бралъ чернила и перо (можетъ быть, исключительно только въ этихъ случаяхъ, пока не началась ссора и не стали друзья писать жалобы!) и, туго, съ напряженіемъ ума соображая, какой нынче день, писалъ: „сія дыня съѣдена такого-то числа“; а если тутъ случался кто-нибудь посторонній и помогалъ ѣсть дыню, то прибавлялось еще: „при ономъ присутствовалъ такой-то“.

Теперь изъ-подъ навѣса въ Миргородѣ перейдите въ собственный кабинетъ, въ канцелярію, въ контору, въ магазинъ за прилавокъ, въ столовую къ чайному столу или въ залъ ресторана и прослѣдите, какъ ежедневно прочитываются, пережевываются газеты.

Если тутъ случится знакомый, начинаются оживленныя разсужденія, добромъ или зломъ кончитъ Чемберленъ, почему бывшій японскій министръ поѣхалъ въ Европу на воды туда, а не сюда, и что теперь будутъ дѣлать боэры, турки, или китайцы.

*

Я полагаю, что прочитавши такъ газету и сложивши ее, мы, подобно миргородскому обывателю, также могли бы написать: „сія дыня, то бишь, сія газета „съѣдена“ такого то числа“, а если были разсужденія, то и прибавить: „при ономъ присутствовалъ такой-то“.

Что значитъ такое жеваніе и унылое пережевыванье газеты утромъ или днемъ? То же самое, что и долгіе часы за картами по вечерамъ и убійственно-скучные вѣчные взаимные визиты губернскихъ и уѣздныхъ дамъ просто пріятныхъ и пріятныхъ во всѣхъ отношеніяхъ, въ полуденное время. Люди не знаютъ, какъ убить время. Лежатъ у себя подъ навѣсомъ, томятся отъ скуки бездѣлья и, какъ Перерепенко, время отъ время пытаются заполнить пустоту души и жизни „дыней“. Какъ пустыя окна по бѣдности, вмѣсто стеколъ, заклеиваютъ въ деревняхъ бумагой, такъ мы пустоту жизни заклеиваемъ газетой, то колодой картъ, то модными выкройками.

И лежимъ мы всѣ такъ подъ своими навѣсами, ѣдимъ „дыню за дыней“, томимся скукой, а дѣла кругомъ—непочатый край, и когда, наконецъ, длинный, томительный день жизни кончится, то на могилѣ самою подходящею надписью, подобно миргородской надписи на бумажкѣ съ дынными зернами, слѣдовало бы поставить: „сія жизнь съѣдена такимъ-то или такою-то на протяженіи съ такого-то по такой-то годъ“.

— Много было съѣдено дынь въ Миргородѣ подъ навѣсомъ,—говоритъ Гоголь.

— Еще больше по-миргородски съѣдено жизней на Руси, можно добавить къ словамъ автора

„Мертвыхъ душъ“,—и еще много, вѣроятно, будетъ съѣдено вновь.

Народная душа и пятьдесятъ лѣтъ послѣ смерти миргородскаго лѣтописца продолжаетъ лежать у себя „подъ навѣсомъ“.

Въ чемъ тутъ причина? Какъ могло случиться, что народъ, который, по словамъ самого Гоголя, хранитъ въ себѣ несмѣтное богатство духа, способность выдѣлить изъ себя людей, передъ которыми всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ покажутся мертвыми, какъ книга мертва передъ живымъ словомъ,—силы для движеній, могущихъ поднять въ высь все человѣчество,—какъ такой народъ на геніальномъ смотру своего великаго „Ревизора“ могъ выставить ему только полчища „Мертвыхъ душъ“?

Почему, наконецъ, и въ отраженіи и въ освѣщеніи современныхъ писателей наша русская жизнь является такою хмурою, тоскливою? Почему народъ, меньшой нашъ братъ, даетъ матеріалъ для Чеховскихъ „Мужиковъ“ или для Горьковскихъ „Бывшихъ людей“, а интеллигенція даетъ „Хмурыхъ людей“, „Человѣка въ футлярѣ?“ Почему внизу царитъ страшная „Власть тьмы“, а на верху приходится смѣяться надъ сомнительными „Плодами просвѣщенія“? Почему нигдѣ не видно длинной и широкой полосы свѣта? Почему лучшія народныя силы не даютъ себя знать? не бьютъ ключомъ? не проявляютъ себя въ творческой работѣ? не создаютъ новой, не хмурой, а ясной, свѣтлой и радостной жизни?

Отвѣтъ простъ и ясенъ: не вѣдомо намъ точно, гдѣ этотъ „югъ“, да и отяжелѣли мы, сидя на ку-

риномъ насѣстѣ. Какъ темный народъ бродитъ, невѣдомо гдѣ, въ поискахъ за лучшей землей на какихъ-то „Теплыхъ Водахъ“, гдѣ берега кисельные, а рѣки текутъ медомъ и молокомъ,—такъ и мы, старшіе братья, ощупью, въ потьмахъ шаримъ вокругъ себя. Порой въ поискахъ правды бросаемся то туда, то сюда, очертя голову; иногда больно ушибаемся, а больше хмуро ворчимъ на неудачу, куксимся или, распоясавшись, лежимъ спокойно подъ своимъ „навѣсомъ“, удовлетворяясь по-миргородски „дынями“.

Нуженъ маякъ, который бы загорѣлся на высотахъ видимо для всѣхъ и даже близорукимъ ясно указывалъ бы вѣрный путь „къ югу“. Нуженъ голосъ, который своею пѣсней новой жизни воодушевилъ бы усталыхъ, укрѣпилъ слабыхъ, пробудилъ спящихъ отъ сна. Гоголь хотѣлъ быть этимъ маякомъ, мечталъ спѣть гимнъ новой жизни, пѣсню о „Живой душѣ“ и не могъ. Сознаніе своего безсилія дать силы другимъ и сломило его душу тяжелымъ недугомъ.

Не видно этой силы, по которой томился духъ Гоголя, и теперь, спустя пятьдесятъ лѣтъ, въ работникахъ на литературной нивѣ. Болѣе крупные, яркіе и даровитые писатели нашихъ дней, и Чеховъ, и Горькій своимъ перомъ *отражаютъ* жизнь, но не въ силахъ *преобразить* ее. Они мастерски рисуютъ безвольныхъ людей, но не могутъ укрѣпить волю, сдѣлать ее сильною, толкнуть ее на живое творческое дѣло, на бодрую работу. Они даютъ цѣлую серію „хмурыхъ людей“ и сами хмурятся, страдаютъ, набрасывая одно лицо за другимъ, но имъ самимъ не дано вызвать свѣтлую улыбку на

хмуромъ лицѣ русской жизни. Они—зеркало жизни, но не маяки ея. Они не могутъ вести читателя, манить на „югъ“, потому что сами не знаютъ, гдѣ онъ. Мучась и болѣя сердцемъ за русское общество, за всю русскую жизнь, что въ нихъ нѣтъ „духа жива“, что не видно нигдѣ живаго дѣла, живой работы и живыхъ людей, они сами не знаютъ, что же, однако надо дѣлать, не умѣютъ сказать, куда идти, гдѣ искать просвѣта. Оттого такъ и пессемистична наша современная литература, оттого такъ хмуро и тоскливо становится на душѣ отъ знакомства съ нею. Слишкомъ ужъ хмуро и сумрачно на душѣ самихъ писателей.

Винить самую жизнь, внѣшнія обстоятельства въ данномъ случаѣ совсѣмъ не справедливо. Истинный писатель—пророкъ, человѣкъ пророческаго духа, высшей духовной силы. Никакія внѣшнія обстоятельства измѣнить его не въ силахъ. Тепло всегда будетъ тепломъ и свѣтъ никогда не можетъ стать тьмою. Слово писателя-пророка, это—молнія, которая, ниспадая съ неба, зажигаетъ дерево, расщепляетъ дерево, расплавляетъ желѣзо.

Горе нашей литературы въ томъ, что въ ней мало пророческаго духа, мало глубокаго проникновенія въ сокровенный смыслъ жизни, мало разумѣнія не того, какъ *жизнь идетъ*, а какъ *она должна идти*; не того, что *дѣлается*, а того, что *надо дѣлать*.

У Чехова въ нѣкоторыхъ его пьесахъ есть слабыя попытки дать отвѣтъ на вопросъ: „что дѣлать?“, но эти попытки только еще ярче подчеркиваютъ безсиліе автора помочь чѣмъ-нибудь писателю.

Въ пьесѣ „Дядя Ваня“, въ концѣ, одна изъ героинь послѣ ряда пережитыхъ тяжелыхъ впечатлѣній, какъ бы съ надеждой на просвѣтъ, на возможное облегченіе въ будущемъ, говоритъ еще болѣе ея усталому душой дядѣ Ванѣ:

— Ну, дядя Ваня, теперь *поработаемъ!*

— Поработаемъ!—отвѣчаетъ тотъ, садясь къ рабочему столу. Беретъ конторскіе счета по усадьбѣ и пишетъ:

— Постнаго масла отпущено на одинъ рубль столько-то копѣекъ.

Этимъ и кончается пьеса. Что это такое? Неужели это просвѣтъ? Неужели это выходъ къ живому дѣлу отъ дыни изъ-подъ миргородскаго навѣса? Неужели въ усадьбѣ, среди тысячъ темнаго народа, интеллигентному человѣку только и дѣла, только и работы, только и „свѣта въ окошкѣ“, что писаніе конторскихъ счетовъ, будь-ли это о постномъ маслѣ на рубль семь гривенъ, о пшеницѣ-ли на двѣсти рублей, или о лѣсѣ на десять тысячъ?

Конецъ „Трехъ сестеръ“ едва-ли не грустнѣе. Барахтаясь цѣлые годы въ ворохахъ затхлой пыли, въ темномъ углу „Миргородскаго навѣса“, чеховскія три сестры стали какъ бы задыхаться. Родной навѣсъ съ вѣчной однообразной „дыней“ имъ надоѣлъ, и вотъ, ища выхода, просвѣта, онѣ въ одинъ голосъ кричатъ:

— Въ Москву! Въ Москву! Въ Москву!

Почему въ Москву? Почему не въ Перербургъ, не въ Харьковъ, не въ Казань, не въ Тулу и не Калугу, наконецъ? Развѣ тутъ дѣло въ мѣстности, а не въ самихъ сестрахъ? Развѣ основной вопросъ

жизни, вопросъ о содержательности ея, о серьезномъ смыслѣ рѣшается географически? зависитъ отъ того или другого градуса широты и долготы?

Мы, жители столицы, будь это Москва, или Петербургъ — все равно, знаемъ, наоборотъ, сотни чеховскихъ сестеръ, а рядомъ съ ними и братьевъ, которые яко-бы задыхаются отъ городской жизни.

— Здѣсь не можетъ быть настоящаго дѣла,— говорятъ они или онѣ.—Здѣсь все убито формализмомъ. Настоящая, живая работа можетъ быть въ деревнѣ, въ глуши. Тамъ спитъ Илья Муромецъ, народъ—богатырь. Его будить,—вотъ великая задача.

Выходитъ, одни за живымъ дѣломъ рвутся изъ шумныхъ центровъ въ спящую глушь; другіе изъ глуши кричатъ:

— Въ Москву, въ Москву!

Дѣло не въ Москвѣ, дѣло въ самомъ себѣ, въ человѣкѣ, въ его разумѣніи жизни и въ готовности и въ силахъ дѣлать творческую работу, творить жизнь по новому, согласно съ новымъ высшимъ разумѣніемъ смысла ея, а этой работы вездѣ—непочатый край. По всей Россіи, особенно въ глуши ея идетъ вопль, стоитъ стонъ, что нѣтъ людей, не хватаетъ работниковъ на живое неотложное дѣло первостепенной важности, а люди по провинціи лежатъ подъ своими „навѣсами“ и плачутся.

— У насъ не жизнь, а спячка: нѣтъ никакого живого дѣла!

Выражаясь нѣсколько можетъ быть вульгарно, скажу: „у людей теплыя рукавицы за кушакомъ, а они жалуются, что у нихъ руки мерзнутъ“. До-

станьте рукавицы, вложите въ нихъ руки и сразу согрѣетесь. Поищите живого дѣла, возьмитесь за него, и вы позабудете тоску, перестанете подъ „миргородскимъ навѣсомъ“ пробавляться всю жизнь „дынями“.

Горькій въ своемъ „Читателѣ“, хотя и опредѣленно выразилъ свой взглядъ на задачу писателя, что онъ долженъ быть „вожакомъ“ людей, что прежде, чѣмъ взлѣзать на каѳедру и громко въ слухъ всѣхъ говорить, писатель долженъ спросить себя: „а есть-ли ему что сказать?“, иначе

„Какъ ты будешь вожакомъ,
Коль самъ съ дорогой не знакомъ?“

но раньше въ своихъ самыхъ крупныхъ произведеніяхъ ясно созналъ и выразилъ свое безсиліе вести читателя за собой, вести его, разумѣется, на „югъ“, къ новой и свѣтлой жизни“.

Мятущіяся души Ѳомы Гордѣева и Ильи въ „Троихъ“ это самъ Горькій „на воздушномъ океанѣ безъ руля и безъ вѣтрилъ“. Горькій, выражаясь языкомъ одного изъ его героевъ, понимаетъ, что „жизнь—игра серьезная“, чувствуетъ необходимость вести эту игру, какъ можно лучше, а какъ это сдѣлать, не знаетъ. Растерянно онъ мечется туда и сюда, и ничего не выходитъ. Въ томъ кругу, въ который Горькій замкнулъ себя, выхода къ свѣту нѣтъ. Надо подняться выше и тамъ искать просвѣта.

— Научи ты меня, какъ надо жить? Скажи мнѣ, что надо дѣлать?—проситъ Ѳома Гордѣевъ, то своего старика-отца, то крестнаго отца—Маякина, то свою ровесницу, крестовую сестру, Лю-

бочку, то давняго товарища дѣтства, бывшаго студента, мелкаго провинціальнаго литератора, Ершова. И никто не можетъ удовлетворить его. Ѳома, какъ утопающій, хватается то за клокъ травы на берегу, то за голый камень, то за сухой корень; но трава обрывается, камень скользитъ, а корень разсыпается трухой. Ѳома въ отчаяніи опускаетъ руки и опускается на дно. Онъ кидается въ самый омутъ жизни, предается пьянству, дикому разгулу, хочетъ утопить свой порывъ къ невѣдомому и недающемуся „югу", думаетъ залить жажду правды виномъ; но широкая грудь и могучія легкія, здоровая натура спасаютъ его, выносятъ снова наверхъ и Ѳома снова мучительно ищетъ нужнаго отвѣта, какъ жить, и снова не находитъ.

Очевидно, авторъ самъ этого отвѣта не знаетъ и своему страдальцу — герою, при всемъ желаніи, не можетъ помочь. Оттого, запутавшись вмѣстѣ со своимъ Ѳомою, Горькій не знаетъ, какъ и кончить злосчастную исторію Гордѣева. Онъ какъ-то комкаетъ конецъ повѣсти и несуразно дѣлаетъ бѣднаго Ѳому полупьянчужкой—полудурачкомъ.

Илья въ „Троихъ" —разновидность Ѳомы Гордѣева. Это въ иной оболочкѣ—та же душа, въ иной обстановкѣ — та же натура. Илья, какъ и Ѳома Гордѣевъ, мучительно, со скрежетомъ зубовнымъ, ищетъ правды жизни, разумѣнія ея и, какъ Ѳома, не находитъ ихъ и, какъ свой прототипъ, такъ же нелѣпо, если не еще нелѣпѣе, кончаетъ жизнь. Спасаясь отъ погони городовыхъ, преслѣдующихъ его за убійство богатаго старика, Илья съ крикомъ: „держись душа!" съ разбѣга кидается объ стѣну встрѣчнаго дома головой и разбиваетъ себѣ лобъ.

Съ фактической стороны такой конецъ прямо нелѣпъ, лишенъ художественной правды; но если тутъ допустить символизмъ, тогда получится глубокій смыслъ. Тогда выходитъ, что это не Илья въ концѣ повѣсти „Трое“ разбилъ себѣ голову о каменную стѣну, а самъ Горькій, оканчивая „Троихъ“ и вторично—и въ Ѳомѣ, и въ Ильѣ,—мучаясь родами слова правды жизни, снова уперся головой въ стѣну, которая отдѣляла его въ замкнутомъ ницшеанскомъ кругу отъ свѣта высшей правды и, будучи не въ состояніи подняться выше этой стѣны, перескочить черезъ нее, разбилъ себѣ объ нее лобъ.

Несомнѣнно, такое состояніе автора еще болѣе мучительно, чѣмъ состояніе души его героевъ, Ѳомы и Ильи. Съ одной стороны ясное пониманіе, что писатель тогда можетъ писать, когда онъ способенъ быть учителемъ жизни читателя, его вождемъ, „вожакомъ“, съ другой стороны—тягостное сознаніе, что вѣрный путь жизни самому невѣдомъ; самъ не знаешь, что надо дѣлать, чтобы жизнь была не мертвой спячкой, а живымъ служеніемъ Духу Жизни, Живой Правдѣ, Живому Богу.

Новое и новое повтореніе старой драмы, жизненной драмы Пушкина, Лермонтова, Щедрина, Некрасова и всѣхъ прочихъ старшихъ и младшихъ братьевъ-писателей. Такъ было, такъ есть и такъ можетъ долго, долго быть.

Мѣщанство души.

(„Мѣщане“ Горькаго).

Въ пьесѣ Горькаго „Мѣщане“ двѣ драмы: драма разлада стариковъ, Безсѣменовыхъ, съ дѣтьми и драма разлада дѣтей, Петра и Татьяны, съ жизнью.

Старики, простые мѣщане, воспитали дѣтей, дали сыну и дочери образованіе, но дѣти выросли и съ годами между ними и стариками выросла стѣна. Старики не понимаютъ молодыхъ, молодымъ тѣсно и душно со стариками.

Дѣти же, студентъ Петръ и дочь — учительница, Татьяна, чужіе дома, оказываются чужими и въ жизни. Годы ученья ихъ кончились. Надо приниматься за работу. Впереди жизнь, а имъ жить нечѣмъ. Ни къ чему нѣтъ охоты, ничто ихъ не интересуетъ, не влечетъ къ себѣ. Ни имъ ничего отъ людей не надо, ни они ничего не могутъ дать другимъ... Имъ скучно съ людьми, людямъ скучно съ ними. Скучные они люди! И вся жизнь вокругъ нихъ скучная, безцвѣтная, прѣсная какая-то.

Съ этой стороны, думается мнѣ, пьеса „Мѣщане“ имѣетъ болѣе глубокій смыслъ и захватываетъ въ свои рамки болѣе широкую картину, чѣмъ, можетъ быть, предполагалъ самъ авторъ.

Если угодно, *мѣщанская* жизнь одной семьи Безсѣменовыхъ можетъ служить въ свою очередь символомъ всей нашей общерусской жизни. Вѣдь давящія Безсѣменовыхъ тоска и скука—удѣлъ не одной мѣщанской семьи.

„Жить скучно“ — общая и повсемѣстная жалоба. Скучаетъ деревня, скучаетъ губернія, скучаетъ столица. Скучаютъ всюду и всѣ. Вездѣ въ массахъ мѣщанскіе мелкіе интересы, мѣщански-пустые разговоры. Всюду въ общемъ жизнь мѣщански скучна и Горьковская картина одной скучной мѣщанской семьи Безсѣменовыхъ выростаетъ такимъ образомъ въ громадную картину мѣщански-скучной жизни всей необъятной Руси.

Причина этого всеобщаго мѣщанства та же, что и причина мѣщанской скуки, мѣщанскаго убожества и безсодержательности жизни въ семьѣ Безсѣменовыхъ, что и причина всякаго мѣщанства вообще — отсутствіе истиннаго аристократизма (аристократія—греческое слово, по-русски — лучшая сила), аристократизма духа, внутреннее безсиліе, духовная слабость и несостоятельность тѣхъ, кто призванъ и могъ-бы осмыслить жизнь, скрасить ее, согнать съ нея сѣрые мѣщанскіе тоны и дать ей яркость и блескъ, мертвящую скуку замѣнить радостнымъ одушевленіемъ.

Возьмите Петра и Татьяну. Они задыхаются въ мѣщанскомъ домѣ своихъ родителей. А почему? Потому что оба такіе же мѣщане, какъ и ихъ родители мѣщане духа.

У себя дома, среди своихъ стариковъ, они, конечно, умственно не въ своей, а въ чужой средѣ; но это отнюдь не основаніе ныть, тосковать и

жаловаться на жизнь. Тутъ, наоборотъ, открывается широкій просторъ для самой живой, увлекательной, полной захватывающаго одушевленія дѣятельности.

Представьте себѣ, что вы издалека, изъ чужихъ заморскихъ странъ, изъ-за широкихъ морей, изъ-за высокихъ горъ, попадаете въ глухой медвѣжій уголъ и приносите съ собою неизсякаемый запасъ новыхъ и яркихъ впечатлѣній. Все вдругъ оживаетъ вокругъ васъ. Къ вамъ тѣсно всѣ льнутъ. Васъ слушаютъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Скуки нѣтъ и слѣда. Людямъ есть о чемъ думать, спорить, говорить. Вы внесли въ скудную, скучную жизнь новое интересное содержаніе.

Развѣ Петръ и Татьяна, не будь они сами духовно типичные *„мѣщане“*, не могли бы того же достигнуть въ своей сферѣ, въ домѣ своихъ стариковъ-мѣщанъ? Они вѣдь оба спустились внизъ домой сверху, пришли къ мѣщанамъ съ вершинъ, изъ замковъ науки. Они долго и много учились, читали уйму книгъ, видѣли живыхъ людей, слышали живое слово. Дома хотѣли бы ихъ послушать, съ нетерпѣніемъ ждутъ въ духотѣ отъ нихъ свѣжей струи. Наивный мечтатель, птицеловъ Перчихинъ, зайдя къ Безсѣменовымъ, чувствуетъ удушье скуки и проситъ Петра хоть чѣмъ-нибудь освѣжить ихъ сѣрую тусклую жизнь.

— Скушновато!—говоритъ онъ.—Да, вотъ что, Петя: прочиталъ я прошлый разъ въ листкѣ, будто въ Англіи летающіе корабли выстроены. Корабль будто, какъ слѣдуетъ быть, но ежели сѣлъ ты на него, надавилъ эдакую кнопку, фію! Сейчасъ это поднимается она птицей подъ самыя облака и

уноситъ человѣка неизвѣстно куда... Вѣрно это, Петя?

— Ерунда!

— А печатаютъ...

— Мало ли ерунды печатаютъ.

— Много развѣ?

— Конечно, много!

— Ты не сердись. И что это, въ самомъ дѣлѣ, всѣ вы, молодые, на насъ, подержанныхъ людей, свысока глядите? И даже никакъ говорить не желаете? Нехорошо!

Дальше...

Дальше вижу я, что надо мнѣ уходить.

И Перчихинъ уходитъ въ кабакъ. Конецъ грустный, но что же Перчихину, бѣднягѣ, дѣлать? Чѣмъ скрасить свою сѣрую мѣщанскую жизнь, если этотъ пришлый изъ міра науки царевичъ Горе-богатырь, не хочетъ съ нимъ подѣлиться и крохами умственнаго богатства, принесеннаго имъ въ мѣщанское убожество. Раньше Перчихинъ также съ любопытствомъ спрашивалъ Петра;„ скажи ты мнѣ, пожалуйста, что такое канализація?“ и отвѣтъ получается столь же рѣзкій, непривѣтливый:

— Ну, зачѣмъ тебѣ? Разсказывать это такъ, чтобы понялъ—долго... и скучно.

Въ началѣ третьяго акта мать Петра, старуха Акулина Ивановна, ведетъ длинный разговоръ съ кухаркой Степанидой. Рѣчь идетъ о маслѣ, на которомъ жарятъ: почему его много выходитъ; потомъ перескакиваетъ на жалкія сплетни, кто къ кому ходитъ и т. д. Разговоры убійственно скучны и пошлы. Петръ входитъ и возмущается.

— Мама, я васъ не однажды просилъ поменьше разговаривать съ кухаркой. Нехорошо.

— Что, у тебя прикажешь спрашиваться, съ кѣмъ говорить мнѣ можно?—обижается мать.—Ты своей бесѣдой меня съ отцомъ не жалуешь, такъ позволь хоть со слугой-то слово сказать...

— Да поймите же, она вамъ не пара. Вѣдь кромѣ сплетенъ, вы отъ нея ничего не услышите.

— А отъ тебя что я услышу? Полгода ты живешь дома-то, а ни разу съ матерью своей родной часу не просидѣлъ вмѣстѣ... ничего не разсказалъ ей... и что въ Москвѣ, и какъ...

Приходитъ въ деревню странникъ, какая-нибудь немудрая монашенка, и тѣмъ есть, что разсказать, и тѣ вносятъ съ собою оживленіе, будятъ мысль, хотя сказочными разсказами разукрашиваютъ сѣрую будничную деревенскую жизнь. Отъ нихъ въ спертую глушь деревни нѣтъ, нѣтъ да и пахнѐтъ жизнью, а Петру и Татьянѣ нечѣмъ подѣлиться съ темной мѣщанской средой, нечѣмъ развеселить, порадовать скучное мѣщанство. Люди идутъ не къ нимъ, а отъ нихъ. Перчихинъ отъ Петра уходитъ въ кабакъ, а если и согласенъ остаться, то съ однимъ условіемъ: „давайте въ карты играть? Въ свои козыри?“

Тетеревъ смотритъ иронически на Петра и улыбается, какъ бы говоря: „что жъ, братъ, съ тобой только и остается“, а затѣмъ, по уходѣ Перчихина, добавляетъ Петру и Татьянѣ:

— Замѣчаете ли вы, что у пьяненькаго, подержанаго птичника живъ духъ и жива душа его, тогда какъ вы оба, стоя на порогѣ жизни, полумертвы?

Петръ и Татьяна, отправляясь въ дорогу жизни, ничего не запасли съ собой. Спустясь въ душное подполье мѣщанства, они изъ свѣтлаго міра знанія, съ широкаго простора мысли ничего не принесли съ собой. Какими мѣщанами они вошли въ научный замокъ, такими и вышли. Имъ даже не вѣрится, что гдѣ-то и чѣмъ-то можно освѣжаться отъ спертой мѣщанской духоты. Когда Елена, Цвѣтаева и Шишкинъ, студентъ, товарищъ Петра, съ увлеченіемъ разсказываютъ имъ, какъ было весело на репетиціи солдатскаго спектакля, Петръ пожималъ плечами.

— Мнѣ не понятно... чего ради вы играете въ симпатіи къ этимъ простымъ людямъ...

Цвѣтаева. — Мы не играемъ... Мы дѣлимся, чѣмъ можемъ съ ними...

Шишкинъ.—И даже не это... Просто намъ пріятно бывать въ ихъ средѣ... Они безъискусственны... Среди нихъ дышешь чѣмъ-то здоровымъ... какъ въ лѣсу. Нашему брату, буквоѣду, никогда не мѣшаетъ освѣжаться.

Петръ (*съ раздраженіемъ*).—Просто вы любите жить иллюзіями. И ваши намѣренія, простите за правду, смѣшны. Освѣжаться среди солдатъ, это извините...

Петру смѣшно и непонятно желанье Шишкина освѣжаться близостью съ меньшимъ и темнымъ братомъ, а непонятно потому, что онъ самъ—воплощенная духота, человѣкъ „безъ кислорода“. Это не живое дерево или цвѣтокъ, которыя освѣжаютъ комнату, а консервированное, искусственно засушенное растеніе, неспособное ни другихъ оживить, ни само оживиться.

Я наблюдалъ однажды любопытный случай. Какъ-то въ воскресный день изъ Тріеста моремъ сдѣлалъ маленькую прогулку на пароходѣ въ сосѣдній городокъ. Городокъ оказался скучный и я сейчасъ же вернулся назадъ. Было два часа дня. Утромъ туда пароходъ ѣхалъ полнымъ; назадъ, за раннимъ временемъ, почти не было никого. Кромѣ меня, ѣхали три итальянскихъ семьи: шестеро взрослыхъ, отцы и матери, и человѣкъ десять дѣтворы. Они возвращались съ прогулки домой. Ѣхать приходилось два часа. Берега были не красивы. Море лежало спокойно. Пароходъ тащился тихо. Удовольствія предстояло мало. Я жалѣлъ дѣтей. Но мои сожалѣнія оказались напрасны. Чуть только пароходъ отчалилъ, одинъ веселый, румяный здоровякъ—отецъ затѣялъ съ ребятами возню. Онъ устраивалъ на широкой и свободной палубѣ то игру въ пятнашки, то бѣгъ въ горѣлки, то всевозможные прыжки. Дѣти прыгали и вверхъ, и въ ширь; прыгали на одной ногѣ; гонялись взапуски на четвереренькахъ. Смѣху, веселья, дѣтской радости было безъ конца. Взрослые сами превратились въ дѣтей и смѣялись не меньше дѣтворы.

Петру, скучному мѣщанину по духу, непремѣнно показалось бы, что нѣтъ ничего скучнѣе ѣхать съ десяткомъ ребятишекъ на пустомъ пароходѣ вдоль неинтересныхъ и давно знакомыхъ, пріѣвшихся береговъ, а живой и бодрый итальянецъ и дѣтей развеселилъ, и самъ весело провелъ время, и мнѣ, случайному спутнику, вмѣсто двухчасовой скуки доставилъ много чистаго, хорошаго оживленія. Такъ и все и вездѣ въ жизни. У живого человѣка всякое дѣло будетъ жить, дастъ,

интересъ; Петру же и Татьянѣ, какое дѣло ни дай, они все будутъ скучать и самое дѣло поведутъ скучно.

Что, напримѣръ, можетъ быть интереснѣе живого дѣла обученія дѣтей? Приведутъ въ школу ребенка. Онъ иногда не умѣетъ отличить правой руки отъ лѣвой. Проходитъ время и школьникъ распускается, какъ цвѣтокъ. Лицо становится осмысленнымъ, въ глазахъ загорается огонь. Маленькій „дичокъ“ превращается въ человѣка. Видѣть это превращеніе день за днемъ, способствовать ему—большая радость, а Татьяна и тутъ скучаетъ. Ея сослуживица по школѣ Цвѣтаева говоритъ:

— Школа интересна! Сколько тамъ интересныхъ дѣтей! Я смотрю на нихъ. Ужасно интересно представить себѣ, какъ будутъ жить мои ученики. Вотъ Новиковъ. Онъ кончитъ школу, пойдетъ въ гимназію, потомъ въ университетъ... Онъ будетъ докторомъ, мнѣ кажется! Такой солидный мальчикъ, внимательный, добрый... лобъ у него огромный. Онъ очень любящій... онъ будетъ очень много работать, безкорыстный, славный... и люди будутъ его очень любить, уважать. И, однажды, вспоминая свое дѣтство, онъ вспомнитъ, какъ учительница Цвѣтаева, играя съ нимъ во время перемѣны, разбила ему носъ... Ты видишь, Таня, это немного... но если бы ты знала, какъ пріятно!

Цвѣтаева такъ, какъ Новикова, перебираетъ всѣхъ своихъ учениковъ и это даетъ ея дѣлу громадный интересъ. Для нея каждый ученикъ—живой человѣкъ, интересная страница жизни. Она

всматривается въ нихъ, изучаетъ, перелистываетъ страницу за страницей и прямо не понимаетъ, какъ за такимъ дѣломъ можно скучать. Вся жизнь полна интереса. Это самая любопытная книга съ живыми картинами, а дѣтвора, будущіе люди, будущіе работники и строители жизни — наиболѣе интересныя страницы этой книги. Отъ нихъ не оторвешься, если только разсматривать, а сколько интереса самой на этихъ страницахъ чертить, рисовать, занести хоть одну свѣтлую черточку!

Цвѣтаева мечтаетъ, какъ Новиковъ впослѣдствіи, будучи уже докторомъ, вспоминая дѣтство, вспомнитъ, что учительница во время игры съ нимъ въ перемѣну разбила ему носъ. Скромная, но милая и дорогая для учительницы мечта! Цвѣтаева знаетъ жизнь Новикова, его сѣрое дѣтство. Мальчикъ растетъ въ нуждѣ, вѣчно впроголодь, не знаетъ радости, веселья. Его дни идутъ за днями сѣро, безцвѣтно и скучно. Когда онъ будетъ со временемъ вспоминать дѣтство, ему все прошлое будетъ рисоваться однимъ большимъ тоскливымъ сѣрымъ пятномъ и на этомъ скучномъ фонѣ вдругъ свѣтлымъ лучемъ мелькнетъ образъ учительницы. Она одна старалась отогрѣть его лаской, расшевелить, развеселить. Она играла съ нимъ, какъ добрый товарищъ; бѣгала по классу, возилась съ нимъ. Однажды даже разбила ему носъ. Вспомнитъ докторъ Новиковъ давнымъ давно разбитый носъ и улыбнется, глаза весело загорятся, потеплѣетъ на сердцѣ. Тепло становится отъ этой мечты и на сердцѣ учительницы.

Разбитый носъ... это, конечно, не много... Не много, можетъ быть, до смѣшного, но если бы вы

знали, какъ это пріятно! и какъ на землѣ стало бы жить веселѣй, если бы мы *всѣ*, хоть объ этомъ могли мечтать! хоть этимъ бы порадовали кого-нибудь!

Впрочемъ, что школа! Живой человѣкъ, кажется, и на кладбищѣ, въ могилѣ найдетъ себѣ дѣло. Жилица Безсѣменовыхъ, Елена, сравниваетъ свою прежнюю жизнь съ жизнью теперь въ мѣщанской семьѣ и съ грустью говоритъ:

— Когда я жила въ тюрьмѣ... Тамъ было интереснѣе. Мужъ у меня былъ картежникъ... Много пилъ, часто ѣздилъ на охоту. Городъ уѣздный... люди въ немъ какіе-то... заштатные... Я никуда не ходила, никого не принимала и жила съ арестантами.

Картина получается довольно опредѣленная и невеселая. Основной фонъ переливаетъ сѣрыми оттѣнками. И, однако, Елена не скучала, не томилась отсутствіемъ дѣла. Она и здѣсь, за тюремной оградой, нашла себѣ свѣтлую радость, сумѣла скрасить жизнь другимъ, дать свѣтлые часы арестантамъ.

— Я накупила имъ разныхъ книжекъ, давала въ каждую камеру шашки, карты... давала табакъ... и вино давала понемножку... На прогулкахъ они играли въ мячъ, въ городки,—совсѣмъ, какъ дѣти. Я купила имъ птичекъ, клѣтокъ, и въ каждой камерѣ была своя птичка... они любили ее, какъ меня. И знаете,—имъ ужасно нравилось, когда я надѣвала что-нибудь яркое,—красную кофточку, желтую, увѣряю васъ,—они очень любятъ веселые яркіе цвѣта. И я нарочно одѣвалась для нихъ, какъ можно пестрѣе... (Вздохнувъ). Славно было

съ ними! Я не замѣтила, какъ прошло три года... и когда мужа убила лошадь, я плакала не столько о немъ, кажется, сколько о тюрьмѣ... Было жалко уходить изъ нея... и арестанты тоже... Имъ тоже было грустно.

Здѣсь удивительная, трогательная подробность о яркой цвѣтной кофточкѣ. Въ тюрьмѣ все сѣро. Сѣрыя стѣны, сѣрыя нары, сѣрые арестантскіе армяки, сѣрыя солдатскія шинели, всѣ лица вокругъ отъ долгаго сидѣнія взаперти сѣрыя. На дворѣ—ни травинки: все вытоптано, сѣро. Куда ни посмотришь, на что ни взглянешь, все сѣро, сѣро и сѣро. Скученъ этотъ вѣчный сѣрый цвѣтъ.

Томитъ онъ, душитъ. Хочется чего-нибудь свѣтлаго, яркаго, цвѣтного. Если жена смотрителя надѣнетъ голубую красную, желтую или розовую кофточку и пройдетъ въ ней по двору, и то уже арестантамъ пріятно. Какъ-то свѣтлѣй, радостнѣй на сердцѣ становится.

Въ жизни то же самое. Очень ужъ много у насъ „сѣраго“ кругомъ. Сѣрые люди, какія-то сѣрыя казенныя отношенія другъ къ другу и вся сама жизнь, отъ начала до конца, сплошь сѣрая. Томительно скучно жить среди этого общаго и повсемѣстнаго сѣраго цвѣта. Хотѣлось бы разнообразія, болѣе яркихъ и цвѣтныхъ красокъ отъ жизни и отъ людей. И совсѣмъ это не такъ мудрено и трудно, какъ, можетъ быть, многимъ кажется. Итальянцы, вотъ, на пароходѣ съ дѣтишками въ горѣлки, въ пятнашки поиграли и тѣмъ два часа ихъ жизни заполнили свѣтлой радостью. Цвѣтаева побѣгала съ ученикомъ Новиковымъ по классу, въ перемѣну разбила ему до крови

носъ и скрасила тѣмъ его дѣтскіе дни, заставила черезъ десятки лѣтъ вспоминать этотъ случай. Жена смотрителя, выходя къ арестантамъ на дворъ, одѣвала только цвѣтную кофточку и то имъ становилось веселѣй; сѣрая арестантская ихъ жизнь озарялась мимолетнымъ свѣтлымъ лучомъ. Если бы также и всѣ мы, входя въ сѣрую будничную, мѣщански прозаическую среду своей жизни, время отъ времени надѣвали бы на себя вмѣсто сѣрой казенщины обычныхъ отношеній „цвѣтную кофточку“ большей сердечности, душевной теплоты!

Приходитъ, напримѣръ, офицеръ въ казармы, „въ роту“. Здѣсь все въ порядкѣ, помѣщеніе прибрано, люди накормлены, дисциплина примѣрная, уставы заучены и выполняются строго. Все обстоитъ прекрасно. Претензій никакихъ. Но „людямъ“, солдатамъ этого мало. Имъ скучно въ сѣрой казармѣ и сѣрой шинели. Имъ дорого было бы, если начальство, господа офицеры, надѣвали бы чаще „что-нибудь яркое“... Увѣряю васъ,—скажу словами Елены,—они очень любятъ веселые, яркіе цвѣта. Они страшно были бы тронуты, если бы офицеръ заглянулъ солдату въ душу глубже солдатской словесности, разспросилъ бы его иногда про житье-бытье его семьи въ деревнѣ и при случаѣ, мимоходомъ, кинулъ бы:

— Ну что, Прохоровъ, поправилась дома твоя жена. Какъ живутъ твои старики?

— Какъ растетъ, Кузьминъ, твой карапузъ-сынишка? Или просто освѣдомился бы о хозяйствѣ:

— Что пишутъ, Сидоровъ, изъ дома? Какъ

хлѣба уродились? Хорошо ли отроились пчелы? Телилась ли буренка?

Посмотрите, какъ освѣтилась бы радостью сѣрая скучная казарма и какъ свѣтло стало бы отъ этой радости на душѣ у самого того, кто среди сѣрой солдатчины чаще и чаще появлялся бы въ чемъ-нибудь „яркомъ и цвѣтномъ"!

Про нѣкоторыхъ знаменитыхъ полководцевъ разсказываютъ, что они знали большинство своихъ солдатъ въ лицо и по именамъ. И на войско это дѣйствовало удивительно воодушевляющимъ образомъ. Солдаты страшно цѣнили одно уже внѣшнее вниманіе къ себѣ.

А что можно сдѣлать съ людьми искреннимъ и любовнымъ вниманіемъ не къ ихъ имени только или лицу, а къ ихъ душѣ, къ ихъ личности, къ ихъ жизни со всѣми ея радостями и невзгодами?

Сколько тутъ „свѣтлаго" можно дать и еще болѣе обратно получить, выходя къ людямъ, вступая съ ними въ сношенія въ „свѣтлой кофточкѣ".

Одинъ мой знакомый, студентъ медикъ выпускного курса, разсказывалъ мнѣ какъ-то о своей практикѣ въ большомъ приморскомъ военномъ госпиталѣ во время лѣтнихъ каникулъ. Палаты длинныя, большія, какія-то сѣро-унылыя. Стѣны сѣрыя, одѣяла сѣрыя, больные сѣрые, и самое лѣченье какое-то сѣрое—касторка, спринцовка, хина и ванна. Больнымъ скучно лежать, сидѣлкамъ скучно ухаживать, докторамъ скучно лѣчить.

— Все одно и то же, — говорили доктора. — Тѣ же болѣзни, тѣ же лѣкарства, тѣ же палаты. Сегодня, какъ завтра; завтра, какъ вчера. Ходишь на службу, все-равно, что похлебку безъ соли

хлебаешь. Вкусу никакого. Интереса ни на грошъ.

— А вы посолите,—говорилъ медикъ, милый юноша-идеалистъ.—Болѣзни, конечно, тѣ же, но люди-то ими болѣютъ разные. Вы помимо болѣзни заинтересуйтесь человѣкомъ, больнымъ. Человѣкъ—интересная штука. Тутъ вы найдете любопытныхъ разновидностей больше, чѣмъ въ области болѣзней. Вы пощупайте у больного не пульсъ лишь, а и сердце; выслушайте у него не хрипы только въ груди, а и стоны души, если они есть.

Самъ студентъ былъ съ больными не на медицинскомъ лишь обходѣ, а подолгу сидѣлъ съ ними и раньше,—и позже. Онъ съ ними бесѣдовалъ, вникалъ въ ихъ жизнь до больницы. Больные были рады ему, какъ солнцу въ сѣрый пасмурный тоскливый день.

— Хоть бы ты у насъ подольше побылъ,— говорили ему со слезами на глазахъ больные на прощанье.—Тоска у насъ безъ тебя одолѣла. Съ тобой посвѣтлѣло въ больницѣ.

— Въ больницѣ словно наряднѣй стало, праздникомъ пахнуло,—говорилъ фельдфебель, завѣдывавшій командою госпитальныхъ служителей; — похоже, какъ будто воздухъ потеплѣлъ, сдѣлался чище. Климатъ сталъ другой.

— А сколько я радости тамъ испыталъ,—весь оживляясь и вспыхивая румянцемъ счастья, разсказывалъ медикъ. — Это трудно передать.

Нельзя, кажется, представить, чтобы въ громадной больницѣ, гдѣ кругомъ на каждомъ шагу столько горя, страданій, всяческой муки, можно было пережить такъ много свѣтлыхъ минутъ.

— Нѣтъ, что ни говорите, закончилъ онъ,— а жизнь—славная вещь! Хорошо жить! Если бы я былъ поэтъ, первое, что написалъ бы я, это восторженный гимнъ жизни и всѣмъ живымъ людямъ въ ней.

Студентъ-медикъ въ сѣрыя больничныя палаты всегда приходилъ въ чемъ-нибудь „яркомъ и цвѣтномъ“ и это удивительно разцвѣчало сѣрую больничную жизнь, давало и самому медику рядъ яркихъ и свѣтлыхъ, радужно-свѣтлыхъ впечатлѣній. И этотъ студентъ, поэтъ жизни,—не свѣтлое исключеніе только. Его любовь къ жизни—общее правило, естественное проявленіе живого духа въ живомъ человѣкѣ.

Живой человѣкъ не можетъ не любить жизни и жизнь не можетъ не подчиняться ему. Живой человѣкъ найдетъ въ себѣ силы воздѣйствовать на жизнь и сумѣетъ изъ нея сдѣлать все, что ему нужно. Для человѣка живого духа жизнь это — большая студія, художественная мастерская, гдѣ онъ творитъ, лѣпитъ, рисуетъ, долго и мучительно вынашиваетъ новыя идеи, по нимъ создаетъ болѣе совершенныя формы; новое вино вливаетъ въ новыя мѣха. Недовольный созданнымъ, онъ его рушитъ, разбиваетъ и затѣмъ снова творитъ. Мысль работаетъ неустанно. Душа полна творческаго вдохновенія. Творчество несетъ радость, свѣтлые часы восторга и довольство, наслажденье жизнью. Тяжелыя муки идейныхъ родовъ, разочарованье и неудачи не притупляютъ интереса жизни, а еще ярче оттѣняютъ его; вызываютъ новыя усилія, заставляютъ волю напрягаться. Человѣкъ переростаетъ препятствія, подымается выше,

и идетъ впередъ болѣе закаленнымъ, сильнымъ и увѣреннымъ въ себѣ.

Такіе люди—истинные аристократы жизни. Они скрашиваютъ жизнь, въ тусклую и сѣрую атмосферу жизни, вносятъ яркіе и свѣтлые цвѣта, придаютъ ей благородный блескъ. Жизнь съ ними не стоитъ, не закисаетъ, не подергивается плѣсенью.

Ихъ одушевленіе охватываетъ, заряжаетъ другихъ. Они бодро идутъ впереди и убѣжденно говорятъ:

— Мы любимъ жизнь! Любимъ трудъ и работу! Любимъ живыхъ и сильныхъ людей!

— А вы развѣ живете? — бросаютъ они горькій упрекъ жалкимъ мѣщанамъ духа, всѣмъ господамъ Безсѣменовымъ безъ различія ихъ званія и общественнаго положенія.—Такъ, какъ-то слоняетесь около жизни и по неизвѣстной причинѣ стонете да жалуетесь... на кого, почему, для чего? Не понятно.

— Вы не понимаете? — отвѣчаютъ вопросомъ мѣщане духа, драпируясь въ сѣрый плащъ какой-то скучной философіи и тусклой мѣщанской меланхоліи надъ жизнью.

— То-то нѣтъ, — могли бы возразить словами Нила творцы жизни.—Когда человѣку лежать на одномъ боку неудобно, онъ перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно, онъ только жалуется... А вы сдѣлайте усиліе, перевернитесь.

Вотъ этихъ-то усилій мѣщане духа и не могутъ сдѣлать. Они входятъ въ жизнь „безъ лица“ и потому вся жизнь вокругъ нихъ остается безличною. Петръ говоритъ:

— Я, очевидно... слабый человѣкъ... Окружаю-

щая меня жизнь не по силамъ мнѣ. Я чувствую ея пошлость, но ничего не могу измѣнить, ничего не въ состояніи внести.

Татьяна съ отчаяніемъ повторяетъ ту же грустную исповѣдь:

— Мнѣ негдѣ, нечѣмъ... незачѣмъ жить... Я чувствую себя... такой слабой, ничтожной... Внутри у меня, въ сердцѣ моемъ—пустота... Все высохло, сгорѣло; я это чувствую и мнѣ больно отъ этого... Окружающая жизнь... эти ссоры, пошлость, мелочи... тѣснота — все это раздавило меня... Потихоньку, незамѣтно раздавило...

Вотъ собственное грустное признаніе Петра и Татьяны. Это — не строители жизни, не сильные работники ея, а жалкіе калѣки, инвалиды. Они раздавлены жизнью и раздавлены жалко позорно; раздавлены потихоньку, незамѣтно. Татьяна говоритъ:

— Жизнь ломаетъ людей безъ шума, безъ криковъ... безъ слезъ... незамѣтно...

Это невѣрно... Это клевета на людей, ложное обвиненіе противъ жизни. Людей, истинныхъ людей, людей живого духа, безъ шума, безъ криковъ, незамѣтно не сломаешь. Простая палка, кость, камень, стекло и тѣ трещатъ, оказываютъ сопротивленіе, задерживаютъ гнетущую ихъ силу, когда ихъ давятъ или ломаютъ. Потихоньку, незамѣтно, безъ шума и треска можно раздавить только труху, жалкую гнилушку, пыльный грибъ.

Окружающая насъ сѣрая мѣщанская жизнь потому и давитъ, незамѣтно, безъ шума, потихоньку перетираетъ въ порошокъ людей, что это — людская труха, жалкіе мѣщане духа.

Какъ это происходитъ? Почему? Какимъ образомъ Петръ и Татьяна становятся трухою, которую можно раздавить безъ шума, незамѣтно? Отчего съ нихъ слиняла всякая краска и они стали линючими, безцвѣтными людьми? Вѣдь про старика, отца Безсѣменова, того же сказать нельзя. Это—человѣкъ „съ лицомъ". Онъ самъ говоритъ дѣтямъ:

— Мы жили! Работали... строили дома... для васъ... грѣшили... можетъ быть много грѣшили.

Почему же у его дѣтей Петра... Татьяны, нѣтъ ни силъ работать, ни охоты жить, ни способности даже грѣшить. Побывавъ на вершинахъ знанія, они вернулись назадъ въ мѣщанскій домъ изъ богатыхъ замковъ мысли не аристократами жизни, строителями ея, а еще болѣе жалкими мѣщанами, мѣщанами не по положенію, а по духу. Старики посылали своихъ дѣтей „въ науку", думая что они станутъ орлами, будутъ высоко летать по поднебесью, а они вернулись домой мокрыми курицами и сидятъ, угрюмо нахохлившись, на насѣстѣ. Единственно, что принесли они съ собой изъ міра знанія и мысли въ скучное безсѣменовское мѣщанство, это — нѣсколько „жалкихъ" книжныхъ словъ, которыми оправдываютъ свои кислыя мины передъ лицомъ жизни и которыми, какъ налетомъ ржавчины, покрываютъ всякое представшее имъ явленіе жизни, всякую живую мысль, живое чувство.

Цвѣтаева, Шишкинъ, Елена и другія дѣйствующія лица „Мѣщанъ" устраиваютъ, напримѣръ, спектакли для солдатъ въ казармѣ и для мастеровыхъ въ желѣзнодорожныхъ депо. Они увле-

чены дѣломъ. Волнуются, хлопочутъ, работаютъ, живутъ. Оживлены сами и еще болѣе оживляютъ другихъ; даютъ людямъ возможность хоть на мигъ, на нѣсколько часовъ, хоть передъ театральной сценой отрѣшиться отъ сѣрой заурядной скуки своей будничной жизни.

А Петръ и самъ ничего не дѣлаетъ, и другихъ еще, словно ржавчиной, своими рѣчами разъѣдаетъ. Вмѣсто живого дѣла разводитъ философію и, прибавимъ, скверную, ржавую философію.

Та же нудная, надоѣдливая, ржавая, безличная философія и у Татьяны. Нилъ съ досадой говорилъ Татьянѣ:

— Скучно тебѣ жить, — займись чѣмъ-нибудь. Кто работаетъ, тотъ не скучаетъ. Дома тяжело,— поѣзжай въ деревню, тамъ живи и учи... а то въ Москву, сама поучись... Дѣла надо, а у тебя все философія. Плохая у тебя, Таня, привычка дѣлать изъ пустяковъ философію. Дождь идетъ — философія, палецъ болитъ—другая философія, угаромъ пахнетъ — третья. И когда я слышу такія философіи изъ пустяковъ (особенно, вмѣсто живого дѣла), мнѣ невольно думается, что не всякому человѣку грамота полезна.

Вѣрнѣе, впрочемъ, слѣдовало бы сказать, не всякая грамота, не всякая наука полезна людямъ. Помню, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, послѣ первой студенческой зимы, я лѣтомъ, въ самомъ началѣ каникулъ навѣстилъ въ деревнѣ старухуняньку. Старуха всплакнула отъ радости, а потомъ, вглядѣвшись въ мое истощенное экзаменами и зимнею студенческою работой блѣдное лицо, всплеснула руками:

— Родимый ты мой, что сдѣлала съ тобой наука? Засушила совсѣмъ, чтобъ ей пусто было! Былъ ты свѣженькій и румяненькій, какъ колобокъ, а теперь сухаремъ сталъ.

Я много смѣялся тогда надъ словами няньки-старухи, а теперь вижу, что она, пожалуй, была даже болѣе права, чѣмъ сама предполагала. Она видѣла мое истомленное лицо и за него пеняла на науку. Жизнь же, вглядѣвшись въ души нашей молодежи, могла бы еще сильнѣе крикнуть:

— Родимые вы мои, что только сталося съ вами отъ школьной науки! Засохли вы совсѣмъ, въ какихъ-то сухарей обратились. Ни къ чему у васъ нѣтъ интереса: ни къ людямъ, ни къ природѣ, ни къ міру, ни къ жизни. Вы словно вываренное мясо: ни вкуса въ васъ нѣтъ, ни питательности. Одни волокна остались.

Сухое книжничество и мертвая зубрежь заѣли живую душу, убили въ ней всякій живой интересъ.

Оглянитесь на свою прошлую школьную жизнь. Мысленно пройдитесь по всѣмъ бывшимъ вашимъ класснымъ комнатамъ и аудиторіямъ, гдѣ вы зубрили, отвѣчали уроки и слушали лекціи; воспроизведите давнія, можетъ быть, забытыя впечатлѣнія. Не правда ли, какъ все это сѣро, безцвѣтно, убійственно, скучно? Такъ мало въ свѣтлые годы дѣтства и юности въ свѣтломъ храмѣ науки и знанія мы видѣли, дѣйствительно, свѣтлаго и яркаго! Такъ рѣдко въ сѣрыхъ аудиторіяхъ, на сѣрыхъ урокахъ и сѣрыхъ лекціяхъ приходили къ намъ люди въ чемъ-нибудь *цвѣтномъ*. Перебираешь такъ долгіе школьные годы, переходишь вновь изъ класса въ классъ, съ курса на

курсъ и, кажется, что ты безвыходно десять-пятнадцать лѣтъ бродишь по тѣснымъ и угрюмымъ комнатамъ большого мѣщанскаго дома Безсѣменовыхъ, гдѣ все такъ скучно, такъ удушливо, такъ мѣщански сѣро, гдѣ ищешь-ищещь чего-нибудь яркаго, свѣтлаго, цвѣтного и такъ и не можешь найти.

Статистическія цифры заслоняютъ живыхъ людей, реторты и колбы застѣняютъ природу, бумажная книга убиваетъ интересъ къ великой книгѣ жизни. Люди живутъ, учатся и растутъ, а съ годами въ нихъ внутри растетъ пустота. По мѣрѣ того, какъ въ головѣ увеличиваются книжныя знанія, люди сами начинаютъ становиться мертвою, скучною книгой.

Неудивительно поэтому, что когда послѣ школы пойдешь въ чиновничьи департаменты и канцеляріи и тамъ опять себя чувствуешь въ томъ же Безсѣменовскомъ душномъ и угрюмомъ домѣ. Та же блѣдность и бѣдность творчества.

Итакъ вездѣ и во всемъ. Вся жизнь массы: личная и семейная и общественная — сѣрая скучная, удручающая безсѣменовщина, — лишенное красокъ и яркости мѣщанство.

Я скажу больше: самая наша литература, нашъ театръ, наше искусство, все то, чѣмъ красится и разцвѣчается жизнь, — все это *въ массѣ* сѣро, все это какъ-то мѣщански скучно, безцвѣтно, безлично. Такъ мало въ нихъ чего-нибудь „яркаго цвѣтнаго“.

Среди этого общаго и повсемѣстнаго мѣщанс ва людямъ становится, наконецъ, тѣсно, душно жить. Является неудовлетворенность, острое не-

довольство наличною дѣйствительностью. Всюду чувствуется гнетущее удушье, словно передъ грозою. Становится все тяжелѣй дышать. У иныхъ это самочувствіе дѣлается трагически-мучительнымъ и разрѣшается катастрофой.

Разрытыя случайно могилы вскрываютъ иногда ужасныя трагедіи, трагедіи заживо погребенныхъ мнимыхъ мертвецовъ. Мнимо-умершіе просыпались въ могилѣ и приходили въ себя подъ тяжелымъ землянымъ сводомъ. Имъ было тѣсно въ узкомъ гробу, не хватало воздуха. Они задыхались. Они пытались разломать темницу, сбросить гробовую крышку. Судорожно метались въ могилѣ, рвали на себѣ воротъ, грызли пальцы, кусали губы, царапали лицо. Въ отчаяніи они, быть можетъ, богохульствовали, проклинали небо, но все было напрасно, воздуха не хватало и они въ страшныхъ мученіяхъ задыхались.

Подобныя трагедіи происходятъ иногда и надъ землей. Въ нравственно-удушливой атмосферѣ задыхается не живое тѣло, а живая душа.

Печальная исторія несчастнаго Ницше представляетъ такую именно мрачную трагедію духа. Богато одаренная душа Ницше съ широкими запросами сверхчеловѣчества томилась въ тѣсныхъ рамкахъ современной, жалкой по внутреннему содержанію, буржуазной жизни, задыхалась въ узкомѣщанской наличной добродѣтели, рвалась къ свѣтлому простору, искала высшаго. Выхода не видѣлось, просвѣта не было впереди и Ницше рвалъ на себѣ воротъ, крушилъ всѣ преграды, отвергалъ религію, добродѣтель и совѣсть въ че-

ловѣкѣ, хотѣлъ перешагнуть по ту сторону добра и зла и тамъ найти своего сверхчеловѣка, удовлетвореніе своимъ запросамъ, но и тамъ не было желанной свободы души, свободы отъ зла. Душѣ было еще душнѣе и Ницше въ отчаяніи богохульствовалъ, слалъ небу проклятья.

Въ дѣйствительности, ницшеанскія проклятья небу были тоской по небу и страшныя богохульства скрывали подъ собой мучительный вопль къ Богу, страстный призывъ Божества, неутолимую жажду живой души слиться съ Источникомъ жизни, подняться до Него. Своими собственными усиліями Ницше не удалось достигнуть этого и его сильный и свободный духъ мучительно страдалъ, извивался въ страшныхъ корчахъ и, наконецъ, трагически погибъ.

Большинство обычныхъ, рядовыхъ людей, человѣческая масса, конечно, такихъ острыхъ мученій духа не знаютъ, эти муки—удѣлъ сильныхъ душъ. Толпа же переживаетъ скорѣе трагикомедію какихъ-то смутныхъ порывовъ, неясныхъ томленій. Безсознательно чувствуетъ, что ей чего-то надо, чего-то не хватаетъ, а чего, — отчета дать не можетъ. Это безпокойство мышенка, котораго иногда при физическихъ опытахъ заключаютъ вмѣстѣ съ горящей свѣчей подъ стеклянный колпакъ. Колпакъ по краямъ отовсюду плотно замазанъ, притока воздуха нѣтъ, свѣча горитъ и процессомъ горѣнія поглощаетъ, уничтожаетъ кислородъ. Воздухъ дѣлается удушливѣе, становится тяжело дышать. Мышенокъ безпокоится, начинаетъ судорожно метаться. Такъ и мы, люди дюжины. Жизнь

идетъ. Своимъ ходомъ, своего рода процессомъ горѣнія она поглощаетъ энергію души; на смѣну старымъ явленіямъ выдвигаетъ новые запросы. Все это требуетъ обновленія нравственной атмосферы вокругъ насъ, новаго притока „воздуха“ для души.

Сами изъ себя, подъ тѣснымъ колпакомъ личныхъ усилій, мы выдѣлить новый запасъ „кислорода“ души, освѣжить духовно окружающую насъ атмосферу не можемъ и потому, что дальше, то больше начинаемъ „безпокоиться“, судорожно метаться, но, какъ бѣдный и глупый мышенокъ не видимъ выхода. Вмѣсто выхода на широкій просторъ, вмѣсто страстныхъ и неустанныхъ поисковъ „свѣжей струи кислорода“, мы ищемъ забвенія, стараемся успокоить, усыпить себя, притупить въ себѣ чувство неудовлетворенности настоящимъ.

Наше повсемѣстное и всеобщее увлеченіе театромъ, выставками и всякаго рода другими зрѣлищами—показатель широко распространенной общественной духовной болѣзненности. Людямъ скучно, тяжело, невыносимо жить.

Силъ на творческую работу, на новое созидательное дѣло нѣтъ; примириться съ удушьемъ трудно и общество, какъ успокоительнымъ пластыремъ, театральною афишею успокаиваетъ ноющую душу,—зрѣлищами, какъ пріемомъ опія, пытается заглушить въ себѣ острое чувство недовольства собственною жизнью. Но нравственное удушье остается въ прежней силѣ и передъ современной жизнью стоитъ все тотъ же вопросъ: какъ быть дальше? гдѣ искать разрѣшенія общаго

недовольства? чего намъ не хватаетъ для желающаго устроенія своей и чужой жизни?

Отвѣтъ на всѣ эти вопросы одинъ: не хватаетъ того, что даетъ жизни истинную аристократичность, дѣлаетъ ее „яркою и цвѣтною“, — не хватаетъ яснаго и полнаго разумѣнія высшаго идеала бытія и силъ для осуществленія этого идеала, проведенія его въ жизнь.

Человѣческая жизнь движется, растетъ и ширится идеями; украшается и расцвѣчается идеалами. Голые факты, какъ-бы они многочисленны ни были, сумма знаній, какъ-бы прочно не усвоилась, — все это сырой матеріалъ, все это только топливо. Соберите какое угодно количество самыхъ лучшихъ дровъ, загромоздите любое пространство хотя бы англійскимъ коксомъ, вамъ будетъ подлѣ всего этого холодно и непривѣтливо, скучно, сѣро. Нуженъ огонь. Нужна пламенная стихія, которая и грѣетъ и свѣтитъ, которая озаряетъ землю улыбкой солнца и даетъ возможность жить всему существующему на землѣ. Для жизни такимъ огнемъ являются идейная мысль и свѣтлые идеалы, идеалы высшей любви, добра и правды.

Наша обычная жизнь бѣдна этимъ огнемъ, она рѣдко вспыхиваетъ и озаряется его свѣтлымъ пламенемъ. Запросы духа растутъ, потребности души утончаются, становятся чище и выше, дѣлаются „аристократичными“, а наше образованіе и воспитаніе, наше просвѣщеніе, вообще вся наша культура въ основѣ по прежнему остаются буржуазными, сохраняютъ сѣрый, скучный, убого-и бѣдно-мѣщанскій оттѣнокъ. И наука, и искусство

мало возвышаются надъ ремесломъ: быстро двигаются впередъ со стороны техники и медленно растутъ со стороны идейности. Присущій имъ, по природѣ, аристократическій блескъ не выступаетъ во всей яркости и стихіи.

Общественная мысль и общественное творчество въ массѣ мѣщански-узки и безцвѣтны. Молодежь, выростающая подъ ихъ впечатлѣніями, неизбѣжно вырабатывается въ скучныхъ и жалкихъ мѣщанъ по духу. Юношескій идейный огонекъ, Божія искра въ тусклой и затхлой атмосферѣ не разгораются, вспыхиваютъ какимъ-то болѣзненнымъ пламенемъ и скоро меркнутъ, совсѣмъ потухаютъ.

Жизнь нуждается въ аристократизмѣ, а тѣ, кто вступаютъ въ нее, какъ грядущая сила, какъ будущіе работники, какъ общественныя надежды, сами болѣе другихъ лишены духа истиннаго аристократизма, духа высшей и лучшей силы.

Ницше не даромъ былъ такимъ убѣжденнымъ и горячимъ проповѣдникомъ аристократизма, и вмѣстѣ страстнымъ ненавистникомъ всеобщей нивелировки, приниженности отдѣльныхъ лицъ въ угоду вкусамъ массы, *„слишкомъ многихъ“*, какъ презрительно выражается онъ. Онъ рвался въ высь, мечталъ о жизни поверхъ „благоутробныхъ“ интересовъ, чаялъ „сверхчеловѣка“, требовалъ преклоненія предъ высшей силой и проповѣдывалъ право *аристократіи* (людей лучшей силы) на полное господство и торжество въ жизни.

Противъ этого ничего нельзя было бы возразить, если бы основная мысль Ницше была выра-

жена имъ полностью и логически проведена до конца; если бы Ницше, выдвигая въ жизни аристократическій принципъ, опредѣленно и вѣрно себѣ и другимъ уяснилъ *истинный* аристократизмъ. Жизнь должна быть аристократична, основные работники ея должны быть людьми аристократическаго духа, но вопросъ, какого именно? Аристократизмъ аристократизму рознь. Есть три рода аристократизма.

Самый древній, первоначальный видъ аристократіи, это—аристократія рода, аристократія крови, происхожденія. Завоеватель присоединялъ къ своимъ владѣніямъ покоренную страну и лучшіе участки ея въ награду раздавалъ своимъ соратникамъ, вождямъ боевыхъ дружинъ, герцогамъ (Herzog), дюкамъ (латинское-dux, французское-duc, англійское-duke) и дукамъ (итальянское-duca). Родоначальники этой аристократіи были герои физической силы, люди военной отваги. Они добыли себѣ славу и право на первенство, на господство въ борьбѣ человѣка *съ человѣкомъ*. Это была—аристократія, такъ сказать, стихійная, аристократія *тѣла*.

На ряду съ аристократіей родовой, стихійной, аристократіей крови въ человѣчествѣ, поверхъ толпы, сверхъ „слишкомъ многихъ", выдѣляется аристократія *ума*, герои мысли, вожди знанія, Гиппократы, Пиѳагоры, Архимеды, Эвклиды, Сократы, Галилеи, Кеплеры, Ньютоны, Кювье, Араго, Лапласы, Бокли, Дарвины, Пастеры и другіе, имъ же имя—легіонъ. Они ведутъ борьбу не человѣка съ человѣкомъ, а поединокъ разумнаго человѣка со

слѣпыми, стихійными силами природы. Они изучаютъ вселенную, изслѣдуютъ силы природы и подчиняютъ ихъ благу человѣчества.

Третій видъ аристократіи — не аристократія *тѣла*, родовая, и не аристократія *ума*, героизмъ мысли, но аристократія *духа*, героизмъ самоотверженной любви и безкорыстнаго служенія добру и правдѣ. Герои этого рода борются не стихійно съ людьми и не со стихійными силами въ природѣ, а со стихійнымъ началомъ въ себѣ, съ животными инстинктами, со звѣремъ въ человѣкѣ. Они неустанно идутъ „вверхъ", и ведутъ за собою другихъ. Это—истинные аристократы человѣчества. Они придаютъ нашей жизни яркій блескъ и разцвѣчаютъ ее красочными цвѣтами. Живое общеніе съ ними и тѣсное единеніе духомъ пріобщаетъ и насъ къ родству съ ними, передаетъ и намъ часть ихъ аристократизма, дѣлаетъ насъ аристократами духа.

Намъ всѣмъ очень недостаетъ этого аристократизма. Мы всѣ, большею частью, духовно плебеи и истинныхъ аристократовъ, аристократовъ духа,—до грусти среди насъ мало. Посмотрите на что направлены, главнымъ образомъ, усилія и геній человѣчества. Колумбы и Куки съ громадными усиліями воли и съ рѣдкой отвагой открываютъ новыя страны. Кортецы, Пизары и Ермаки завоевываютъ громадныя области. Ливингстоны и Нансены съ чрезмѣрными лишеніями изслѣдуютъ пустыни Сахары и полярные льды. Шлиманы и Фіорели раскапываютъ Трою и Помпею. Шамполіоны съ геніальнымъ остроуміемъ разбираютъ

гіероглифы. Гершели изучаютъ въ небесныхъ мірахъ туманности, а Пастеры чувствуютъ себя, какъ дома, въ мірѣ бактерій и микроорганизмовъ, населяющихъ каплю воды. Наблюденіе силъ природы, изученіе законовъ вселенной, *внѣшнее* благоустройство жизни человѣка, развитіе промышленности и всевозможная техника,—все это привлекаетъ и поглощаетъ страшныя усилія человѣческаго генія. Мы вездѣ тутъ, на всѣхъ поприщахъ встрѣчаемъ длинные ряды славныхъ дѣятелей, даровитыхъ работниковъ.

Иное мы видимъ въ области изслѣдованій, изученія и совершенствованія человѣческаго духа. Здѣсь кругъ работниковъ крайне ограниченъ. Людей, которые, обладая печатью генія, пытливо рѣшали бы вопросъ, не въ чемъ и въ комъ физически, а чѣмъ духовно существуютъ люди, которые отдали бы всѣ силы своего исключительнаго дарованія на расширеніе духовныхъ горизонтовъ человѣчества,—такихъ людей не много. Тѣмъ они дороже. Тѣмъ болѣе аристократичны они. Тѣмъ цѣннѣе и необходимѣе для насъ общеніе съ ними.

Несомнѣнно, что присоедини Петръ и Татьяна Безсѣменовы къ десятку лѣтъ своей учебы нѣсколько мѣсяцевъ духовнаго общенія съ этими аристократами, они не вернулись бы домой жалкими мѣщанами духа.

Тетеревъ въ бесѣдѣ съ Ниломъ негодуетъ:

— Жизнь испорчена! Она скверно сшита... Не по росту порядочныхъ людей сдѣлана жизнь,— говорю я.—Мѣщане сузили, окоротили ее сдѣлали тѣсной... И вотъ я есмь вещественное доказа-

тельство того, что человѣку негдѣ, нечѣмъ, незачѣмъ жить...

Эти слова горьки, обидны, но они справедливы. „*Мѣщане*“, дѣйствительно, сузили жизнь, окоротили ее, сдѣлали тѣсной. Но если это такъ, то кто же мѣшаетъ намъ самимъ запастись духомъ истиннаго аристократизма, войти въ жизнь живой и дѣятельной силой и расширить жизнь, поднять ее, сдѣлать яркою и свѣтлой?

Мы можемъ всегда окружить себя самымъ избраннымъ, аристократическимъ обществомъ. Десятокъ, другой классическихъ авторовъ введетъ насъ въ среду Данта, Мильтона, Свифта, Сервантеса, Гомера, Эсхила, Сократа, Сенеки, Эпиктета, Шекспира, Шиллера, Гете, нашихъ родныхъ Пушкина, Достоевскаго, Толстого, Владиміра Соловьева и многихъ другихъ. Читая и вдумываясь въ вѣчно живыя страницы ихъ твореній, мы воочію увидимъ, чѣмъ болѣли и скорбѣли благородныя сердца, какъ они падали и въ паденіи страдали, какъ страданіями искупали свое паденіе и какъ, несмотря на свои паденія, вѣчно неудержимо стремились въ высь и властно влекли за собою другихъ.

Общеніе съ этими аристократами духа высоко подниметъ ваше сердце, расширитъ передъ вами горизонтъ жизни и черезъ васъ придастъ окружающей васъ сѣрой мѣщанской жизни истинно-аристократическій блескъ.

Затѣмъ въ поискахъ аристократизма жизни идите дальше. Къ изученію мертвой книги присоедините изученіе живого человѣка и тѣсныя

рабочія комнаты раздвиньте до края земли. Пойдите въ народъ, вмѣшайтесь въ толпу, потолкайтесь на базарахъ, прислушайтесь, что говорятъ, о чемъ думаютъ и скорбятъ на пристани, въ вагонѣ, на пароходѣ, въ курной избѣ и въ богатой гостиной. Да идите не учить и не дѣлать политику. Чему мы можемъ учить другихъ, когда мы сами ничего не знаемъ, бродимъ въ потьмахъ въ самыхъ основныхъ вопросахъ жизни? И какъ станемъ устраивать чужую жизнь, когда бьемся-бьемся и не въ силахъ наладить, устроить свою жизнь, привести въ порядокъ свой внутренній міръ? Идите учиться, учиться жить, учиться у жизни. Для человѣка нѣтъ ничего интереснѣе и поучительнѣе человѣка. Встрѣчаясь съ новымъ человѣкомъ, смотрите на него, какъ жаждущій въ пустынѣ на кружку съ водой. Старайтесь выпить его, понять, изучить всего, до дна.

Вы, на первыхъ же порахъ, поразитесь, какъ интересна жизнь; увидите, какъ много людей, пытливо ищущихъ выхода изъ тѣсной и душной мѣщанской жизни, и вамъ станетъ стыдно ныть и хохлиться на куриномъ насѣстѣ, когда всюду столько неотложной и живой прекрасной работы.

Пойдите затѣмъ къ природѣ. Выйдите изъ тѣсныхъ и душныхъ каменныхъ мѣшковъ, перешагните за пыльную городскую черту. Побродите по дремучему лѣсу, спуститесь и подымитесь по широкой и многоводной рѣкѣ, подышите просторомъ полей, полюбуйтесь могучею гладью моря, взберитесь на вершины горъ. Природа освѣжитъ васъ, успокоитъ, ободритъ, дастъ минуты и часы

чистой поэзіи. Солце согрѣетъ и оживитъ вашу холодную тягучую кровь, лѣсъ убаюкаетъ нѣжными сказками, море пробудитъ энергію, вершины горъ унесутъ ваши мысли въ высь и сдѣлаютъ чувства чистыми, какъ рѣющій вокруъ васъ горный воздухъ.

Красота и величіе міра, звучащая всюду гармонія природы пробудятъ жажду гармоніи и въ человѣческой жизни, потребность красоты и во взаимныхъ людскихъ отношеніяхъ. Вы станете добиваться наилучшаго жизненнаго стиля, будете настойчиво искать высшій, неописанно аристократическій планъ жизни, и когда, наконецъ, возьмете въ руки великую книгу жизни, евангельское ученіе о Царствѣ Божіемъ въ людяхъ, вы удидите возможность найти полное внутреннее удовлетвореніе. Жизнь въ васъ и чрезъ васъ расширится, освободится отъ безсѣменовщины и для васъ станетъ свѣтло. Вы сами въ ней будете желаннымъ яркимъ и красочнымъ пятномъ. Сама же по себѣ узкая, тѣсная и удушливая „мѣщанская“ жизнь не сдѣлается аристократическою, если мы сами не пріобщимся аристократизму духа.

Писатель и читатель.

Покойный Щедринъ, послѣ долгихъ лѣтъ литературной работы, на склонѣ лѣтъ своихъ горько жаловался, что между нимъ и читающей его публикой не чувствуется тѣсной нравственной связи, не видно болѣе или менѣе ясныхъ и осязательныхъ слѣдовъ вліянія пера. Нѣтъ близкой сердечной дружбы, единенія души, а существуетъ, такъ сказать, шапочное знакомство. Встрѣтились, раскланялись и разошлись. Писатель написалъ, сдалъ рукопись въ типографію и выпустилъ статью; читатель получилъ книгу, журналъ или газету, прочелъ и отложилъ въ сторону.

— Писатель пописываетъ, читатель почитываетъ, — сѣтовалъ Щедринъ, — и только всего. Дальше сближеніе не идетъ. И писатель, и читатель остаются другъ другу чужими людьми.

Тяжело, конечно, было это чувствовать Щедрину; тяжело это чувствуется и многими другими писателями, но тѣмъ не менѣе это—фактъ, и фактъ понятный, фактъ, къ сожалѣнію, неизбѣжный.

Писатель, это—духовный учитель, только учитель не школьный, а общественный. Литература—то аудиторія, въ которой воспитываются цѣлыя

поколѣнія народа, а то и значительной доли всего человѣчества. Если школа не оставляетъ замѣтнаго слѣда на своихъ питомцахъ, не роднитъ ихъ съ собою и не заставляетъ ихъ всю жизнь вспоминать съ любовью учителей,—значитъ, школа не была на высотѣ своего призванія, не дала питомцамъ того, что требовала ихъ душа. Вина въ разобщенности между учителемъ и ученикомъ ложится тутъ прежде всего на учителя. Не съумѣлъ онъ, значитъ, согрѣть сердце учащихся, — они и остались холодными къ нему. Покончили съ нимъ дѣло, отошли и забыли. Память о добромъ учителѣ, наоборотъ, сохраняется до могилы. Она свѣтитъ въ самыхъ густыхъ потемкахъ жизни.

Въ прекрасной книгѣ Кони „Ѳедоръ Петровичъ Гаазъ“, разсказывается трогательный случай. Сенаторъ Арцымовичъ былъ на ревизіи въ Сибири. Проѣздомъ онъ остановился въ одномъ селеніи, гдѣ много было ссыльныхъ поселенцевъ. Пока перепрягали лошадей, собралась большая толпа. Арцымовичъ заговорилъ кой съ кѣмъ. Когда подали экипажъ и Арцымовичъ хотѣлъ было садиться, къ нему вдругъ быстро подошелъ осанистый старикъ, въ дорогомъ, хорошаго сукна армякѣ и, несмотря на осеннюю невылазную грязь на улицѣ, опустился на колѣни. Арцымовичъ думалъ, что старикъ обращается съ просьбой о помилованіи, сталъ его поднимать и обѣщалъ, что можно, сдѣлать. Старикъ благодарилъ сенатора за готовность облегчить его участь, но отъ помощи отказался.

— Мнѣ ничего не надо,—говорилъ ссыльный

поселенецъ, бывшій каторжникъ;—а ты скажи, батюшка-баринъ, живъ ли еще на Москвѣ Ѳедоръ Петровичъ Гаазъ.

Каторжникъ-ученикъ не забылъ его и въ Сибири. Страницы, написанныя Гаазомъ на сердцахъ каторжниковъ, ярко свѣтились и въ рудникахъ каторги. Ихъ не могли стереть, загладить даже рубцы каторжныхъ плетей. Какимъ, значитъ, сильнымъ огненнымъ языкомъ говорилъ Гаазъ! И эту силу языка Гаазу давала любовь, — любовь къ страждущему, загноившемуся и душой и тѣломъ, „каторжному“ народу.

Пиши такимъ языкомъ, языкомъ сердца, полнаго любви къ человѣку, всякій писатель, онъ не останется чужимъ читателю. Онъ не будетъ только „пописывать“,—онъ будетъ учить. Онъ властно поведетъ за собою читателя, а читатель не станетъ лишь „почитывать“, — онъ будетъ „зачитываться“ любимымъ писателемъ, ждать, какъ свѣтлаго луча, каждое его слово, любовно чтить каждую его идею, образъ, самое его имя.

Страницы, написанныя такимъ языкомъ, пройдутъ сквозь даль временъ, найдутъ себѣ доступъ къ читателямъ разныхъ народностей, будутъ дороги и понятны всему человѣчеству.

Когда извѣстный путешественникъ по Африкѣ, миссіонеръ Ливингстонъ, пропалъ гдѣ-то въ центральной Африкѣ, за нимъ была послана на розыски экспедиція подъ начальствомъ Стэнли. Стэнли послѣ долгихъ и трудныхъ розысковъ нашелъ Ливингстона въ ужасномъ положеніи. Ливингстонъ, изнуренный тяжелою болѣзнью, лежалъ у какихъ-то дикарей, которые не понимали

больного; тѣмъ не менѣе они ухаживали за Ливингстономъ, какъ только могли.

— Скажите, — спрашивалъ потомъ Стэнли, — какъ вы объяснялись съ вашими „лѣкарями“ и какъ они понимали ваши нужды и желанія?

Ливингстонъ отвѣчалъ:

— Есть языкъ, понятный всѣмъ племенамъ на всякой степени умственнаго развитія. Этотъ языкъ — языкъ любви къ человѣку. Съ этимъ языкомъ вы всегда найдете доступъ къ сердцу человѣка, всегда и сами поймете его.

Теперь пока въ школѣ нѣтъ такого языка, потому школа за рѣдкимъ исключеніемъ и остается ученикамъ чужою. Она не дорогая alma-mater, мать-питательница, а трудная неизбѣжная лѣстница для подъема на извѣстную необходимую умственную и житейскую правовую высоту. Рѣдко слышится такой языкъ и въ литературѣ. Не имъ въ большей степени болѣе или менѣе красиво и увлекательно говоритъ писатель и потому писатель также остается только шапочно-знакомымъ читателю. Писатель—не интимный другъ, совѣтникъ и учитель читателя, а интересный встрѣчный собесѣдникъ, случайный спутникъ, съ которымъ можно пріятно скоротать нѣсколько свободныхъ часовъ.

Говоря о языкѣ любви къ человѣку, какъ объ основномъ свойствѣ писателя, безъ котораго онъ будетъ только „пописывать“, а не писать, я разумѣю не жалкую чувствительность, приторную сантиментальность и сладкую водицу съ прописною томительною моралью, я разумѣю глубокое, серьез-

ное чувство, разумѣю постоянную и неослабную любовь писателя къ человѣчеству со всѣми его язвами, со всѣмъ душевнымъ гноемъ, разумѣю вѣру писателя въ возможность „Воскресенія“ и „Мертвыхъ душъ“, его готовность придти читателю на помощь, быть для него милосерднымъ самаряниномъ, облегчать страданія души, помочь ему стать на ноги. Въ массѣ литературныхъ произведеній отвѣта на такія требованія трудно найти.

Я полагаю, не ошибусь, если скажу, что всю существующую литературу всѣхъ странъ и всѣхъ временъ можно раздѣлить на три отдѣла. Одни произведенія представляютъ болѣе или менѣе яркую и объективную картину дѣйствительности. Въ нихъ писатель съ присущимъ ему талантомъ спокойно разсказываетъ, что видалъ, наблюдалъ, останавливаясь большею частью на язвахъ общественной жизни, такъ какъ эти язвы — обычное явленіе. Типичнымъ представителемъ такихъ писателей служитъ Золя съ его серіей романовъ „Макаръ Ругоны“, у насъ отзывчивый ко всѣмъ впечатлѣніямъ дня П. Боборыкинъ.

Золя самъ такъ опредѣляетъ задачу писателя: „романистъ долженъ держаться фактовъ, строгаго изученія природы. Онъ стушевывается, хранитъ про себя свое волненіе и просто на просто излагаетъ то, что видѣлъ. Романистъ, негодующій на порокъ и рукоплещущій добродѣтели, портитъ собранные имъ документы. Произведеніе его теряетъ въ силѣ. Это уже не мраморная страница, извлеченная изъ неодушевленной глыбы, а обра-

ботанное вещество, искаженное волненіемъ автора“.

Другіе писатели не довольствуются картиннымъ изображеніемъ дѣйствительности; они возмущаются неприглядностью тѣхъ или иныхъ явленій жизни, негодуютъ на нихъ, мечутъ въ нихъ громы и молніи, обливаютъ ядомъ сарказма, казнятъ бичемъ сатиры. Вспомните лермонтовское „Первое января“:

Когда передо мной, какъ будто бы сквозь сонъ,
При шумѣ музыки и пляски,
При дикомъ шопотѣ затверженныхъ рѣчей,
Мелькаютъ образы бездушные людей—
Приличьемъ стянутыя маски...
О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью!

Третьи, геніальнымъ взоромъ взглядываясь въ жизнь и оцѣнивая ее своимъ великимъ сердцемъ, видятъ, что жизнь человѣчества съ ея порывами къ небу и купаньемъ въ грязи — тяжелая драма, что тутъ нѣтъ виноватыхъ,—есть несчастные, и что никому изъ насъ не дано судить и бичевать другихъ, бросать въ нихъ камнями. Надъ „Анной Карениной“ поставлены эпиграфомъ божественно-великія слова „Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ“, т. е. высшій и конечный судъ надъ злобой жизни принадлежитъ лишь Высшей и Конечной Правдѣ. Назначеніе же людей подыматься до этой правды и другихъ подымать за собой. Величайшій русскій поэтъ такъ и разумѣлъ свое призваніе. Онъ ставитъ себѣ въ заслугу не бичъ сатиры и не

мщенье злу, а громкій и мощный призывъ къ добру.

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ.

—пишетъ Пушкинъ у себя на памятникѣ.

Выбирать за писателя одно изъ этихъ трехъ направленій и требовать, чтобы онъ писалъ непремѣнно такъ, а не иначе, конечно, невозможно; скажу болѣе, неумно. Каждый даетъ, что можетъ, и писатель отражаетъ впечатлѣнія жизни въ своихъ произведеніяхъ подъ тѣмъ угломъ зрѣнія, подъ какимъ ихъ воспринимаетъ. Тутъ нужно считаться съ фактомъ и, если что возможно, то не предъявленіе требованій, а критическая оцѣнка того или иного, такъ сказать, метода воздѣйствія литературы на жизнь.

Несомнѣнно, всѣ методы воспитанія имѣютъ одну общую цѣль—возвысить, облагородить и нравственно усовершенствовать предметъ воспитанія, личность человѣка, но достоинство различныхъ методовъ различное. Одни методы достигаютъ опредѣленной цѣли болѣе успѣшно, другіе менѣе, третьи, можетъ быть, какъ это и случается иногда, достигаютъ совершенно обратныхъ результатовъ.

Тоже и въ литературѣ. Здѣсь произведенія одного рода дѣйствуютъ неотразимо на читателя въ воспитательномъ отношеніи, подымаютъ духъ, вливаютъ новыя силы и властно влекутъ на свѣтлыя вершины жизни. Другія, въ томъ же направ-

леніи дѣйствуютъ много слабѣе; третьи—не производятъ никакого впечатлѣнія, проходятъ какъ-то безслѣдно; иныя же дѣйствуютъ прямо въ нежелательномъ духѣ и вызываютъ противъ себя вполнѣ заслуженное раздраженіе, протестъ и даже обвиненіе.

Помню интересную по данному вопросу бесѣду. Въ одномъ собраніи молодежи шелъ долгій споръ объ оцѣнкѣ различныхъ цѣлей задачъ литературы. Говорили такъ и сякъ. Судили каждый по своему. Споръ затянулся. Время близилось къ полночи. Пора было расходиться. Минутъ за десять до конца встаетъ какой-то человѣкъ лѣтъ 25, по виду мелкій торговецъ, или прикащикъ, и говоритъ:

— Я внимательно слушалъ все, что здѣсь говорилось, напряженно думалъ и скажу вотъ что. Не буду вдаваться въ разсужденія, приведу примѣръ, или притчу, какъ хотите, назовите. Молодость свою я провелъ въ деревнѣ. Тамъ у насъ былъ странникъ. Много этого народа у насъ на Руси и всякіе тутъ есть люди. Нашъ странникъ былъ особый человѣкъ. Грамотѣ онъ не учился, но отъ природы былъ большого ума, а еще больше великаго сердца. Много, гдѣ бывалъ, много видалъ, много думалъ надъ жизнью. Больше всего любилъ, чтобы ему читали Евангеліе. Гдѣ только можно, просилъ почитать ему въ слухъ.

— Въ Евангельи-то,—говаривалъ онъ,—свѣтъ. Она книжка хоть и махонькая, а свѣту въ немъ на весь міръ крещеный, на весь Божій людъ. Темно кругомъ. Иную пору зги не видать. А какъ

фонарикъ-то Христовъ, Евангелье, возьмешь въ руки передъ собой, все тебѣ сейчасъ и видать станетъ. Съ нимъ, братъ, не ошибешься, не оступишься.

Вотъ этотъ странникъ встрѣтилъ однажды другого странника и говоритъ:

— Скажи, Божій человѣкъ, зачѣмъ ты странствуешь по свѣту?

— Какъ зачѣмъ?—оторопѣлъ тотъ.

— А такъ: не для себя-жъ вѣдь, а для Бога или для людей?

Встрѣчный странникъ молчалъ, недоумѣвая, что сказать. Нашъ самъ ему отвѣтилъ:

— Видишь-ли? Если для Бога, то ходить тебѣ по землѣ нечего. Богъ отъ тебя вездѣ одинаково далекъ или близокъ. Бога надо искать у себя въ сердцѣ. Если же ты ходишь для людей, то скажи: „думалъ ли ты надъ жизнью человѣческой? Знаешь ли всѣ горести, и всѣ неправды людской души? Можешь ли ихъ понять? И понявши самъ, можешь ли другимъ объяснить? главное, можешь ли эти горести въ людяхъ утѣшить, неправду жизни уменьшить?

Спрошенный молчалъ. Нашъ странникъ пристально посмотрѣлъ на него и медленно, вдумчиво сказалъ:

— Если не думалъ надъ жизнью... неправду жизни не понимаешь... сердцемъ не болѣешь о ней... и людямъ справиться съ ней помочь не можешь... напрасно ты ходишь среди людей. Не странствуй по свѣту, а займись лучше какимъ ни на есть другимъ дѣломъ.

— Я такъ полагаю,—продолжалъ говорившій въ собраніи молодежи,—что всякій писатель есть также странникъ. Въ каждой искренне написанной книгѣ есть частица души писателя, а книга переходитъ изъ рукъ въ руки, странствуетъ среди людей. Съ ней вмѣстѣ, стало быть, странствуетъ и писатель. И вотъ я спрашиваю теперь писателя—странника: „думалъ ли ты надъ жизнью? понялъ ли горести и всѣ неправды ея? и, понявши, можешь ли все это уврачевать? дать людямъ радость и свѣтъ, показать имъ дорогу къ счастью и къ правдѣ? Если нѣтъ, я скажу ему словами моего старика—странника:

— Не ходи тогда напрасно среди людей. Займись лучше какимъ ни на есть другимъ дѣломъ.

Прекрасная притча! Красивая по формѣ и мудрая по мысли! Она говоритъ, что писатель — неусовершенствованный фотографическій аппаратъ, мастерски схватывающій разнообразныя, иногда очень сложныя явленія жизни, и не холодное зеркало, равнодушно отражающее все, на что оно наведено. Писатель, это эхо, но эхо не мертвое, отраженное пустою впадиной пещеры или нависшими сводами горнаго прохода, а эхо живое, несущее откликъ живого сердца, чуткой души, впечатлительной ко всѣмъ малѣйшимъ измѣненіямъ интонаціи жизни. Про такого писателя мало сказать:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье.

Была ему звѣздная книга ясна
И съ нимъ говорила морская волна.

Истинный писатель, писатель-странникъ, писатель, который не пописываетъ только, а который пишетъ и пишетъ на самомъ прочномъ матеріалѣ, на страницахъ сердца читателей, тотъ писатель долженъ обладать болѣе сильнымъ, глубокимъ и высокимъ чутьемъ. Онъ долженъ понимать біеніе человѣческаго сердца, страдать его муками, болѣть за всѣхъ тоской по высшей правдѣ жизни, по красотѣ добра, поэзіи любви. Ему должно быть понятно все человѣческое, но также вѣдомо *по возможности* и все Божіе, на высоту котораго онъ и призванъ призывать человѣка съ низинъ его духа. Его назначеніе быть и совѣстью читателя, и его учителемъ, и любящимъ другомъ. Ему нѣтъ выше похвалы, какъ если можно будетъ сказать про него, что

... ничто не оставлено имъ,
Подъ солнцемъ живымъ безъ привѣта,
На все отозвался онъ сердцемъ своимъ,
Что проситъ *у сердца* отвѣта,

отвѣта, проникнутаго разумѣніемъ высшей правды жизни и полнаго любви къ человѣку, каковъ бы этотъ человѣкъ ни былъ. Если писатель на это не способенъ, дать такого отвѣта на впечатлѣнія жизни не можетъ, ему въ литературѣ нечего дѣлать. Пусть онъ лучше займется какимъ ни на есть другимъ дѣломъ.

Литература вѣдь каѳедра, а на каѳедру можетъ всходить только тотъ, у кого есть что *ска-*

зать. Если же у человѣка нѣтъ своего, что онъ могъ бы сказать, а онъ можетъ только, хотя бы и очень талантливо и интересно о видѣнномъ и слышанномъ *разсказать*, онъ будетъ разсказчикъ, а не писатель. Онъ, можетъ быть, и успѣшно заполнитъ пустоту времени читателя, его досугъ, но никакъ не пустоту его души.

Большіе города Европы съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе наводняются художественными выставками. Въ Берлинѣ, въ Дрезденѣ, въ Мюнхенѣ, въ Парижѣ, у насъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ въ общей сложности выставляется ежегодно свыше десятка тысячъ полотенъ и статуй и все это въ большинствѣ случаевъ блѣдно, безсодержательно, бездарно. Десятки комнатъ и громадныхъ залъ всюду заполнены произведеніями кисти и рѣзца и ни одной сильной вещи, негдѣ остановиться глазу, не надъ чѣмъ хорошо задуматься, не отъ чего освѣжиться душой. Ходишь, ходишь часами по такимъ выставкамъ и въ результатѣ одна усталость ногъ и головы. Подобныя произведенія искусства мнѣ всегда напоминаютъ разсказъ одного путешественника въ Заволжьѣ. Путешественникъ ѣхалъ киргизскою степью. Кучеръ киргизъ, какъ сѣлъ на козлы, тронулъ лошадей, такъ и запѣлъ. Ѣхали часъ, ѣхали другой, третій, ѣхали полъ дня, — киргизъ все поетъ, Его пѣсня, непрерываясь, монотонно лилась часъ за часомъ. Удивленный такою длинною, безконечной пѣснью, путешественникъ спросилъ, наконецъ, кучера-киргиза:

— Какъ называется пѣсня, что ты поешь?

— Никакъ, баринъ,—отвѣчалъ киргизъ.—Моя не знаетъ никакая пѣсня.

— А что-же ты тогда поешь?

— Что пою? Что увижу, то и пою. Увижу дерево, дерево пою; увижу барашка, барашка пою; увижу конь, коня пою; увижу бабу, бабу пою. Все пою. Что увижу, то пою.

Большинство художниковъ удивительно напоминаютъ этого пѣвца—киргиза. Они рисуютъ все, что увидятъ предъ собою. Увидятъ базаръ въ Каирѣ, стадо въ степи, бабъ у колодца, — ихъ рисуютъ; увидятъ болото, вершины горъ, разливъ рѣки,—ихъ рисуютъ. И все это безъ искры мысли, безъ проблеска чувства, безъ всякаго слѣда художественнаго чутья. Все это киргизски — монотонно и уныло.

Какъ-то въ Берлинѣ, обойдя однажды на выставкѣ сорокъ большихъ залъ и осмотрѣвъ двѣ тысячи картинъ и статуй, я съ досадой говорилъ своему спутнику, русскому художнику:

— Послушайте, если людямъ нечего сказать, зачѣмъ они лѣзутъ на выставку? Нѣтъ ничего въ головѣ и въ сердцѣ, такъ и сиди у себя дома; а то человѣкъ бьетъ въ колоколъ, собираетъ вокругъ себя народъ, а сказать ничего не можетъ.

— Что же дѣлать, если жизнь не даетъ матеріала?—вступился за своихъ нѣмецкихъ собратьевъ русскій художникъ. — Время такое блѣдное, безцвѣтное переживаемъ,—вотъ и искусство бѣдное и блѣдно содержаніемъ. Искусство отражаетъ жизнь.

Я возражалъ:

— Искусство призвано не отражать жизнь, а работать надъ жизнью. Искусство — дитя неба на землѣ. Оно должно подымать жизнь къ небесамъ. Не жизнь должна давать содержаніе художнику, а художникъ вноситъ новое содержаніе въ жизнь. Жизнь выдвигаетъ запросы, намѣчаетъ, такъ сказать, темы, а задача художника—дать посильный отвѣтъ на эти вопросы, возможно ярче, полнѣе и красочнѣе разработать жизненныя темы. Лучъ солнца, прорываясь сквозь тучи скрашиваетъ, озаряетъ самый скучный и сѣрый день. Пусть жизнь бываетъ скучнымъ, сѣрымъ днемъ, искусство призвано внести въ сѣрую скуку жизни свѣтъ и яркую красочность. А что даютъ эти двѣ тысячи полотенъ, гдѣ ни въ одномъ лицѣ не отмѣчено искры жизни, ни въ одномъ пейзажѣ не отражается ни капли красоты Божьяго міра? Такъ и чуется, что всѣ эти художники — „сердцемъ хладные скопцы“.

Художникъ спорилъ:

— Вы слишкомъ строги. Войдите въ залъ, гдѣ выставлены оригиналы каррикатуръ для журналовъ. Сколько тамъ жизни, сколько умныхъ наблюденій, сколько силы и выразительности въ рисункѣ!

— Это правда, — согласился я. — Если хотите, отдѣлъ каррикатуръ, дѣйствительно, самый сильный и интересный на выставкѣ. То же было и въ прошломъ году. Но все это только ярче и полнѣе подтверждаетъ мою мысль, что художники Берлина безсильны сказать что-нибудь свое, внести положительное содержаніе въ жизнь. Они напоми-

наютъ того сказачнаго царевича, которому злая фея подарила заколдованное зеркало. Какъ только царевичъ взялъ въ руки зеркало, оно разбилось въ дребезги и осколки попали ему въ глаза. Физическихъ страданій не было, но царевичъ пересталъ видѣть добро и красоту въ жизни. Во всемъ, на что онъ смотрѣлъ, ему бросалось въ глаза только безобразное. Онъ могъ видѣть одни лишь уродливыя явленія жизни, и это было страшнымъ мученіемъ для него. Мучительно, я думаю, жить постоянно въ мірѣ всяческаго уродства художнику-каррикатуристу; да мучительно, наконецъ, и зрителю предъ этими воспроизведеніями уродства. Перечтите два первые тома новаго изданія сочиненій Чехова. Какія, казалось бы, забавныя, остроумныя каррикатуры въ каждой отдѣльной сценкѣ, а послѣ прочтенія цѣлаго томика залпомъ становится мучительно тяжело на сердцѣ, въ душѣ отъ всего веселья вдругъ является горькій осадокъ, хочется скорѣе забыть эту ярко выставленную одуряющую пошлость и низменную тупость жизни.

— Чего же вы хотите отъ художника и писателя, отъ искусства вообще? — недоумѣвалъ мой собесѣдникъ.

— Хочу, — отвѣтилъ я,—чтобы художникъ не только изобразилъ мнѣ омутъ жизни, не только осудилъ его, а бросилъ въ него яркій лучъ свѣта, освѣтилъ его тьму. Жизненныя явленія, каковы бы они ни были, худыя или хорошія, — продуктъ человѣческаго духа; они — вылившійся уже въ опредѣленную форму и застывшій матеріалъ. Цѣнность ихъ достоинства, ихъ звуковъ, какъ цѣн-

ность и достоинство колокола, опредѣляются достоинствомъ матеріала, ушедшаго на отливку. Чѣмъ больше въ сплавъ колокола пошло благороднаго металла, тѣмъ чище, сильнѣе и музыкальнѣе будетъ звукъ. Точно такъ же и въ жизни. Чѣмъ больше въ сплавъ ея будетъ прибавлено благороднаго металла, добра и правды—основныхъ элементовъ высшей красоты, тѣмъ яснѣе и мелодичнѣе будутъ жизненные звуки. И эта примѣсь, какъ въ горнилѣ, должна быть очищена и расплавлена въ сердцѣ художника и затѣмъ влита въ массу жизненнаго сплава.

Въ данномъ случаѣ художникъ и писатель въ одинаковомъ положеніи: и тотъ, и другой пишутъ; одинъ—красками, другой—перомъ. Задача обоихъ одна: писать не *копіи съ жизни*, а *образцы жизни*, давать въ яркой, художественной формѣ жизненные идеалы.

Художникъ, будь это художникъ кисти или пера,—Прометей. Онъ долженъ принести съ небесъ огонь на землю и обогрѣть толпу, освѣтить мракъ жизни.

У меня былъ однажды многознаменательный разговоръ съ знакомымъ мнѣ фабричнымъ. Фабричный толковый мужикъ лѣтъ 30, вмѣстѣ съ другими приходилъ ко мнѣ и бралъ книги для чтенія. При полученіи книгъ обратно, я всегда спрашивалъ о впечатлѣніи отъ чтенія. Въ тотъ разъ у фабричнаго была книга Сенкевича „За хлѣбомъ“.

— Ну, что! — спрашиваю,— понравилась книга?

Фабричный отвѣтилъ не сразу. Лицо его стало серьезнымъ. Онъ какъ-то тряхнулъ головой, словно

отгонялъ докучливую муху, или тяжелую думу, и сказалъ:

— Знаете, что, батюшка! Вы такихъ книгъ мнѣ больше не давайте, да и другимъ также. Уберите ее лучше подальше.

— Что такъ! — удивился я.—Сенкевичъ—писатель талантливый. Онъ всегда пишетъ умно и красиво...

— Что умно онъ пишетъ, аль красиво, я не спорю,—перебилъ меня фабричный,—а только мнѣ отъ его таланта не легче. Онъ тутъ въ книжкѣ разсказываетъ, какъ цѣлая крестьянская семья бѣдовала у себя дома, какъ всѣ снялись, ровно птицы, и переселились въ Америку, и какъ горе изломало ихъ тамъ вдосталь. И все это разсказано такъ явственно, что у меня все нутро изныло, пока я читалъ. У меня вѣдь и своего горя довольно, на свою нужду слезъ не хватаетъ, а тутъ еще чужая бѣда. Извелся я за этимъ разсказомъ. Раньше то я думалъ: „если плохо у насъ, можетъ, гдѣ хорошо въ другомъ мѣстѣ, за моремъ тамъ, или иначе гдѣ“. Все думалось: „не у насъ, такъ у другихъ у кого есть счастье“. А тутъ выходитъ, ни подлѣ тебя, нигдѣ. Да и впереди писатель ничего не показываетъ. Кругомъ нѣтъ просвѣта. Вездѣ одно горе. Ложись и умирай, или веревку надѣвай на шею.

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ, съ его талантомъ,— заключилъ мой фабричный, — а такихъ книгъ я больше не буду читать. Дайте мнѣ чего-нибудь, гдѣ я отдохнулъ бы сердцемъ. Неужели нигдѣ

такъ-таки и нѣтъ ни свѣта, ни правды, ни счастья, ни радости.

Тутъ, въ простой рѣчи фабричнаго цѣлое міровоззрѣніе, строго опредѣленное требованіе къ литературѣ.

— Не томи меня только тяготою жизни, — говоритъ читатель писателю. — Укажи, если можешь, мнѣ выходъ, дай мнѣ хоть слабый просвѣтъ.

Такое требованіе не дѣло личнаго вкуса фабричнаго. Это голосъ, если хотите, всякаго читателя, по крайней мѣрѣ голосъ всего русскаго народа, народа, разумѣю, въ смыслѣ простонародья. Мнѣ кажется, мы совершенно напрасно и даже болѣе, крайне несправедливо относимся пренебрежительно ко всей такъ называемой народной литературѣ огуломъ. Я много думалъ, почему народъ такъ любитъ лубочные разсказы о Бовѣ-королевичѣ, объ Ерусланѣ Лазаревичѣ, объ англійскомъ милордѣ и другіе тому подобные. Тутъ по моему мнѣнію глубокій смыслъ. Причина та же, почему мы всѣ въ дѣтствѣ зачитывались Майнъ-Ридомъ, Куперомъ, Жюлемъ Верномъ, увлекались приключеніями капитана Немо и подвигами краснокожихъ, мечтали объ охотничьей и боевой жизни въ преріяхъ, въ Кордильерахъ, въ горахъ Гиммалаевъ. Насъ не удовлетворяла окружающая насъ тусклая, сѣрая, скучная будничная жизнь. Намъ хотѣлось чего-нибудь яркаго, красочнаго, хотѣлось подвиговъ, героизма. Эти мечты, мечты нелѣпыя, смѣшныя, имѣли, однако, дорогую цѣну. Онѣ были голосомъ свѣтлой поэзіи юныхъ дней,

своеобразной формой пылкаго порыва въ высь. Жизнь впослѣдствіи срываетъ перо за перомъ съ нашихъ боевыхъ доспѣховъ и убранства юношескихъ мечтаній, смываетъ краски яркихъ думъ о героизмѣ битвъ. Мы становимся благоразумны, но и ... страшно прозаичны вмѣстѣ съ тѣмъ. Мы смѣемся надъ ребячьими мечтами объ охотничьихъ подвигахъ, но смѣемся, пожалуй, и надъ мечтами о *всякихъ* подвигахъ.

Читатель изъ народа, увлекающійся Бовами, Ерусланами и Милордами, тотъ же читатель-ребенокъ за Маинъ-Ридомъ и Жюлемъ Верномъ, только читатель еще болѣе чистый въ своемъ идеализмѣ, болѣе высокій въ своихъ мечтахъ о героизмѣ. Народные герои-любимцы, Бовы и Ерусланы, всѣ — богатыри. Они ведутъ постоянную борьбу съ темною силою, жертвуютъ собою и побѣждаютъ неправду. За исторіею ихъ подвиговъ за ними читатель-народъ отдыхаетъ душой. Вокругъ него полное торжество темной силы. Темная сила давитъ, гнететъ его, не даетъ ему вздохнуть, но читатель-народъ убѣжденный идеалистъ. Онъ не теряетъ вѣры въ добро, въ торжество правды. Онъ мечтаетъ о подвигахъ борьбы съ темными силами жизни; убѣжденъ въ конечной побѣдѣ надъ ними. Онъ говоритъ себѣ своими любимыми лубочными героями:

— Пусть все вокругъ меня мрачно, тяжело и нудно. Это не вѣчно. Если не подлѣ меня, то гдѣ-нибудь за тридевять земель, въ тридесятомъ царствѣ есть все-таки добро, правда живетъ. Придетъ оттуда какой-нибудь Бова-королевичъ, явит-

ся герой, человѣкъ свѣтлаго духа и онъ разгонитъ всю силу злобную, дастъ людямъ свѣтлую жизнь.

Согласитесь сами, это не такъ грубо и глупо, какъ кажется обычно. Такія мечты читателя-народа и запросы его къ писателю общи болѣе или менѣе всему человѣчеству. Мы всѣ хотѣли бы видѣть осуществленною мечту о Бовѣ-героѣ, борцѣ за правду, за тепло и свѣтъ жизни, и эта роль такъ просится, такъ къ лицу писателя.

Отсюда, полагаю, ясно, что я отнюдь не хочу сказать, что писатель долженъ лицемѣрно закрывать глаза на гнойныя язвы жизни, проходить съ невиннымъ видомъ мимо картинъ грязныхъ пороковъ. Нѣтъ, Авгіевы конюшни жизни необходимо чистить. Общество должно каяться въ своихъ грѣхахъ, обязано видѣть свои слабости, пороки и недостатки; а если оно ихъ само не видитъ, осязательно до боли, до мучительнаго жгучаго стыда не чувствуетъ, святой долгъ писателя — будить спящую совѣсть, раскрывать сомкнутыя вѣжды, поднести читателю къ глазамъ правдивое зеркало и въ своихъ произведеніяхъ показать всю неприглядность его духовной физіономіи. Поэтому писатель, подобно санитару, долженъ знать и фасадъ и внутренность, и задворки человѣчества; но чистить грязь — не значитъ купаться въ ней, не значитъ смаковать эту грязь.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Петербургѣ была художественная выставка исключительно итальянскихъ произведеній. Картины чаровали мастерской техникой, яркостью красокъ, богат-

ствомъ воздуха и свѣтомъ, но впечатлѣніе, тѣмъ не менѣе, получалось далеко не отъ всѣхъ чисто художественное. Отъ немногихъ только картинъ вѣяло истинной поэзіей, иныя же являлись не картинами, а какими-то гнойными нарывами въ краскахъ. Была, напримѣръ, одна картина. Громадное, саженное полотно. На немъ изображена въ настоящую величину большая двухспальная кровать. На кровати лежитъ блѣдная, съ болѣзненнымъ лицомъ дѣвочка 10—12 лѣтъ. Сосѣдняя съ ея головой подушка смята. Шелковое одѣяло, подушки, бѣлье дѣвочки выписаны удивительно. Видимо, все это писалъ большой мастеръ-техникъ. Но что значила эта картина?

Я стоялъ и раздумывалъ: „Больная-ли, выздоравливающая, или умирающая? Что изображаетъ этотъ бѣдный, надломленный помятый цвѣтокъ"?... Пока я думалъ-гадалъ, ко мнѣ подходитъ знакомая дѣвушка, ученица педагогическаго выпускнаго класса гимназіи.

— Какъ я рада, что встрѣтила васъ,—сказала она мнѣ. Объясните мнѣ эту картину. Она въ каталогѣ по-итальянски подписана „Vendutta".

Я взглянулъ на подпись и обомлѣлъ. Итальянское слово обозначало: „проданная". Художникъ не нашелъ для своей мастерской кисти инаго сюжета, какъ гнусность, мерзкое преступленіе.

Что я могъ сказать передъ этой картиной чистой дѣвушкѣ? И скажите потомъ, картина-ли это, произведеніе искусства, или красочный гнойникъ. Года три спустя, я это милое „произведеніе" встрѣтилъ на выставкѣ въ Мюнхенѣ. Картина

бродитъ цѣлые года по Европѣ и не можетъ найти себѣ покупателя. Покупателя нѣтъ, но зрителей хотя бы и невольныхъ передъ ней было не мало. Какое впечатлѣніе вынесли они? Можно ли художнику сказать „спасибо“? и художникъ ли тотъ, кто рисовалъ это гнойниковое полотно?

А сколько литературныхъ произведеній, которыя по духу — родня описанной картинѣ? Которыя и сами на своихъ страницахъ даютъ одну за другою подобныхъ картинъ. Такія, напримѣръ, произведенія, какъ нашумѣвшія послѣднее время Андревскія „Бездна“ и „Въ туманѣ“, какъ ихъ назвать? Произведенія искусства, или гнойные нарывы?

На литературу вѣдь смотрятъ и смотрятъ справедливо, какъ на учительницу, руководительницу жизни. Къ ней идутъ, какъ къ чистому источнику живой воды. Ее нельзя обращать въ грязную лужу, сточную яму житейскихъ отбросовъ. Литература должна свѣтиться яркимъ, чистымъ свѣтомъ высшихъ идеаловъ и отражать этотъ свѣтъ на читателя. Никакой блестящій стиль, интересный сюжетъ и тонкое остроуміе не могутъ скрасить убожество пошлой низкопробной идеи. Пошлость, разсказанная хотя-бы съ краснорѣчіемъ Демосѳена или воспѣтая мощнымъ стихомъ Байрона, все же будетъ пошлостью, а пошлости не можетъ быть мѣста въ литературѣ, такъ какъ основная задача писателя—бороться съ пошлостью и грязью жизни во всѣхъ ея видахъ.

Мнѣ въ Берлинѣ удалось однажды сдѣлать интересное психологическое наблюденіе. Я шелъ

осматривать художественный музей. Было воскресенье. Музей открывался въ 12 часовъ дня. На площади ожидала толпа, все больше „народъ“: нарядные рабочіе съ женами, солдаты, подгородные крестьяне. Мнѣ особенно бросились въ глаза два подростка 15—16 лѣтъ, прибывшіе, очевидно, впервые въ Берлинъ. Румяные, съ чистымъ лицомъ, съ свѣтлыми голубыми глазами, они были воплощеніемъ свѣжей, сильной и чистой юности. Я любовался на нихъ, какъ они наивно дивились всему: и большому фонтану, и цвѣточному ковру на площади, и колоннадѣ музея. Пробило двѣнадцать. Толпа двинулась. Мои мальцы скрылись въ ней.

Я ходилъ по заламъ, забывъ о нихъ. Дошелъ до картины Корреджіо (копія) „Юпитеръ и Іо“. Мнѣ стало обидно за искусство, за чистое, высокое, святое искусство; стало жаль художника, его дивной кисти. Передо мной была совершенно голая, чуть не живая Іо. Отъ ея тѣла вѣяло зноемъ. Казалось, дотроньтесь до полотна, и вы почувствуете теплоту и упругость дѣвичьяго тѣла. Такъ мастерски все было написано. Около Іо было какое-то темное существо. Оно обхватило лапами Іо, и она въ объятіяхъ его млѣла, лицо ея горѣло такимъ сладострастіемъ, что, казалось, она вся горитъ грубымъ животнымъ огнемъ. Я отошелъ въ сторону и сталъ наблюдать публику, — какое впечатлѣніе картина производила на другихъ. Подошли какъ разъ мои мальчуганы. Они шли, взявшись за руки, и весело болтали между собою. Очевидно, они были довольны, музей внесъ

большой запасъ новыхъ впечатлѣній. Передъ картиной Корреджіо они вздрогнули, словно по нимъ пробѣжалъ какой-то электрическій токъ. Руки они опустили, какъ бы боясь, что черезъ нихъ передастся другому охватившее ихъ настроеніе, котораго имъ каждому стало стыдно. Съ лица сбѣжала свѣтлая улыбка. Глаза съузились. Въ нихъ загорѣлся скверный огонекъ. Губы искривились. Непріятно было видѣть внезапную перемѣну. Въ томъ же берлинскомъ музеѣ есть картина Беклина „Сатиры и спящая нимфа". Сатиры съ гадкою улыбкой любуются изъ-за кустовъ на спящую на берегу ручья обнаженную нимфу. Мои мальчуганы передъ картиной „Іо" были живые маленькіе сатиры.

— Посмотрите на ребятъ,—указалъ я бывшему со мной художнику.—Какъ вы думаете, если бы родители ихъ, добрые нѣмецкіе бюргеры, видѣли сейчасъ лица своихъ дѣтей и понимали ихъ выраженіе, сказали ли бы они спасибо, художнику, назвали ли бы эту картину произведеніемъ *святаго* искусства? И за тѣмъ ли они посылали дѣтей въ музей, чтобы они пережили здѣсь чувства берлинскихъ сатировъ?

— Я не понимаю, чего вы хотите отъ искусства?—сказалъ художникъ. — Картина — шедевръ, кисть дивная, техника поразительная.

— Хочу,—отвѣчалъ я,—чтобы высота техники отвѣчала высокой идеѣ, чтобы идея возвышала зрителя, чтобы онъ ушелъ отъ картины болѣе чистымъ, а не болѣе загрязненнымъ, чѣмъ пришелъ. Художникъ—не ремесленникъ, который гор-

дится одною техникою. Онъ своею божественной кистью не смѣетъ будить въ зрителѣ грубыя чувства.

У литературы тѣ же задачи, что у живописи и она также отвѣтственна за свое содержаніе и свое вліяніе.

Въ насъ во всѣхъ отъ природы много грубаго, низменнаго и животнаго. Достаточно иногда искры, чтобы зажечь скотскій огонь. Литературная этика требуетъ отъ писателя большой осторожности и разборчивости въ выборѣ и разработкѣ сюжета. Потакать грубымъ инстинктамъ толпы легко, и на эту приманку всегда можно найти много читателей, но эти пріемы не достойны уважающей себя литературы. Писатель призванъ подымать читателя до себя, а не самому опускаться до уровня массы.

Люди изъ душнаго города на время ради чистаго воздуха ѣдутъ на дачу, чтобы тамъ передохнуть, такъ и читатель изъ омута жизни, отъ своей душной сутолоки идетъ къ писателю, чтобы здѣсь за бесѣдой съ умнымъ, талантливымъ, идейнымъ человѣкомъ хоть немного передохнуть и запастись свѣтомъ и воздухомъ до новой встрѣчи.

Достоевскій въ „Запискахъ изъ Мертваго дома“ ведетъ насъ на кладбище человѣческихъ душъ; онъ даетъ намъ рядъ картинъ изъ жизни отбросовъ, подонковъ человѣчества, говоритъ о самыхъ ужасныхъ и закоренѣлыхъ всевозможныхъ злодѣяхъ и порочныхъ людяхъ, и, однако эти „Записки“ не оставляютъ на васъ ни капли грязи, напротивъ очищаютъ, возвышаютъ васъ. Почему? Потому, что великій писатель и самъ имѣетъ, и

васъ также заставляетъ имѣть въ виду одно: человѣка, человѣка въ язвахъ, униженнаго и опозореннаго, который, однако, и на днѣ паденія сохранилъ искру человѣческую, не превратился окончательно въ скота. И эта искра въ васъ самихъ зажигаетъ новый свѣтъ, очищаетъ грубую животную природу.

Истинный писатель долженъ вносить въ жизнь запасъ кислорода, освѣжать и очищать нравственную атмосферу жизни. Но, чтобы нравственно оздоровить жизнь, поднять ее на высоту правды Божіей, дать ей духовную красоту, мало одной брезгливости къ жизненной грязи.

Кто возмущается только злобой жизни, негодуетъ и бичуетъ ее, тотъ не можетъ быть желаннымъ учителемъ и строителемъ жизни. Злоба и гнѣвъ—плохіе совѣтники, еще болѣе неудачные педагоги.

Недавно въ одномъ интеллигентномъ кружкѣ, гдѣ было, между прочимъ, не мало молодежи, зашелъ интересный разговоръ о средствахъ воздѣйствія на общество, на человѣчество въ цѣляхъ его нравственнаго улучшенія. Студентъ - юристъ говорилъ, что христіанская проповѣдь евангельскихъ началъ жизни, по своей высотѣ, духовности, безсильна исправить людей.

— Ветхозавѣтный законъ Моисея съ его строгоопредѣленными юридически границами дозволеннаго и соотвѣтствующими наказаніями за нарушеніе болѣе пригоденъ для насъ,—говорилъ студентъ. А еще дѣйственнѣе уголовное или гражданское право. Проповѣдь добра, возвышенный призывъ къ правдѣ мало въ комъ могутъ найти от-

кликъ, а наказаніе—лишеніе свободы, правъ или имущественный ущербъ—это осязательно чувствуется всякимъ.

— Если бы вы знали, какъ все это грубо и дико отстало съ педагогической точки зрѣнія!—сказала юристу курсистка-педагогичка. — Хотѣла бы я, чтобы вы были моимъ ученикомъ и вотъ я стала бы драть васъ за уши, за вихры, бить по щекамъ, ставить колѣнями на горохъ, сажать въ карцеръ, — это было бы ваше уголовное право. Если же бы я оставляла васъ безъ обѣда, отнимала завтракъ,—это было бы гражданское право. Интересно было бы знать, что вы сказали бы о такомъ воспитаніи? Навѣрное, закричали бы, что это—скверная педагогика, что на ученика надо дѣйствовать добрымъ словомъ, внушеніемъ, а не палкой, не кнутомъ или веревкой, не насмѣшкой, не издѣвательствомъ. Почему же для воспитанія взрослыхъ можетъ быть оставлена старая, скверная педагогика фонвизинскихъ Цифиркиныхъ и Кутейкиныхъ съ битьемъ, угрозами и насмѣшками?—закончила педагогичка.

Всѣ согласились съ ней, какъ, думаю, всѣ согласятся и съ тѣмъ, что литературное воздѣйствіе на общество путемъ обличенія, сарказма, насмѣшки есть также устарѣлая педагогика,—педагогика не высокой пробы. Писатель, воздѣйствующій на общество только сатирой, злобнымъ смѣхомъ, бичомъ сарказма, подобенъ укротителю звѣрей, который входитъ въ клѣтку съ бичомъ въ рукахъ. Подъ его пристальнымъ взоромъ, боясь ударовъ, звѣри пятятся по угламъ; но чуть укротитель от-

вернулся, они готовы броситься и растерзать. Звѣрь остался звѣремъ. Этого мало. Литература призвана къ большему: она должна не заглушать только звѣриное, а будить человѣческое, вносить въ человѣка высшій, божескій элементъ.

Когда все это думаешь, соображаешь намѣченныя великими русскими писателями задачи литературы, жутко становится за рабочимъ столомъ, за каждой литературной статьей. Словно грозный судія, припоминается библейское сказаніе. Моисей съ горы Хорива видѣлъ кустъ, который горѣлъ и не сгоралъ. Моисей хотѣлъ подойти ближе и услышалъ голосъ: „Моисей, сними обувь съ ногъ твоихъ, ибо то мѣсто, гдѣ ты стоишь, земля святая". Къ святому мѣсту, къ святому дѣлу не подходи съ грязными лапами.

Литературная работа, писательство, есть именно, такое дѣло, которое требуетъ и чистаго сердца, и чистыхъ рукъ, и чистаго слова, слова любви къ человѣку и къ высшей правдѣ жизни.

Свѣтлый гость.

(„На днѣ" Горькаго).

Новая пьеса Горькаго „На днѣ" является наиболѣе выдающимся литературнымъ произведеніемъ послѣдняго времени. О ней много говорятъ и пишутъ; ее много читаютъ и смотрятъ. Кто видѣлъ пьесу на сценѣ, говорятъ, что она производитъ сильное, мѣстами потрясающее впечатлѣніе, звучитъ горькою правдою и заставляетъ надъ

многимъ сильно задуматься, болѣе всего надъ собою, надъ своимъ отношеніемъ къ жизни.

— Смотришь горьковское „На днѣ“, — говорилъ мнѣ одинъ мой знакомый москвичъ,—и минутами даже жутко становится, жутко не столько за тѣхъ, на кого смотрятъ, сколько за тѣхъ, кто смотритъ. Кажется, что передъ тобою не представленіе идетъ, а судебный процессъ: что ты сидишь не въ партерѣ, на креслѣ, а въ судѣ, на скамьѣ подсудимыхъ и, что тамъ, въ глубинѣ театра, на сценѣ не артисты играютъ, а прокуроръ произноситъ страстную, неопровержимую, убійственно-сильную рѣчь. Вы слушаете эту рѣчь и чувствуете, что въ васъ самихъ встаетъ грозный свидѣтель-обличитель, совѣсть, которая говоритъ:

— Тотъ ужасъ, что творится „На днѣ“, существуетъ ни гдѣ-нибудь за тридевять земель, а рядомъ съ тобой, можетъ быть, въ подвалѣ ночлежки подъ твоей квартирой, въ крайнемъ случаѣ въ сосѣдней улицѣ или, самое дальнее, въ сосѣднемъ кварталѣ. Герои же „Дна“, „бывшіе“ люди, еще недавно были настоящими людьми. Вы ихъ видѣли не разъ, часто встрѣчались съ ними, говорили, были, можетъ быть, долго знакомы. У нихъ были и талантъ, и положеніе, и сытый трудъ. Куда все это дѣлось?

Высшая Правда жизни, смотря на васъ со сцены, безмолвно ставитъ вопросъ: „какъ могло случиться, что эти жалкіе босяки, пропойцы и воры среди тысячъ братьевъ-людей скатились такъ глубоко, на дно жизни, стали жалкими тѣнями человѣка? Гдѣ же были настоящіе люди, люди силь-

наго духа и крѣпкой воли? Неужели некому было поддержать слабыхъ?

Я самъ, лично „На днѣ“ на сценѣ не видѣлъ; но я слышалъ пьесу въ частномъ домѣ, ранѣе выхода ея въ печати, въ мастерскомъ, художественномъ чтеніи и тогда она на меня произвела такое же впечатлѣніе, какъ на моего знакомаго москвича, видѣвшаго пьесу въ театрѣ. Пьесу читалъ крупный артистъ. Онъ, видимо, весь проникся духомъ пьесы, сжился съ каждымъ героемъ и читалъ прекрасно. Я слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Меня не столько занимали яркость и образность языка, остроуміе и сила отдѣльныхъ изреченій, сколько основная мысль пьесы, общее впечатлѣніе ея.

Мнѣ, въ комнатѣ частнаго дома такъ же, какъ моему знакомому въ театральномъ залѣ, становилось стыдно, стыдно за себя. Я думалъ:

— Вотъ мы сидимъ на мягкихъ и уютныхъ креслахъ, слушаемъ артистическое чтеніе и будемъ потомъ очень умно, какъ прилично образованнымъ и развитымъ людямъ, разсуждать о новой пьесѣ. Кругомъ насъ длинныя и большія полки съ книгами на разныхъ языкахъ, по стѣнамъ красивыя картины и гравюры. И при всемъ этомъ у насъ „на днѣ“ жизни въ какомъ-то смрадномъ клубкѣ копошатся живыя души, братья наши, „бывшіе“ люди. Ни наша наука, ни наше искусство, ни нашъ умъ не спасли „бывшихъ“ людей отъ гибели, не въ силахъ и послѣ гибели, послѣ паденія помочь имъ подняться со „дна“.

Я думалъ все это, слушалъ сцену за сценой

читаемой пьесы и мнѣ вдругъ вспомнилась толстовская „Власть тьмы“, разговоръ Митрича съ Анюткой въ четвертомъ дѣйствіи. Никита съ Матреной пошли въ подполье душить ребенка. Десятилѣтняя Анютка словно чуетъ преступленіе. Ей жутко одной въ избѣ съ работникомъ Митричемъ. Митричъ, старый солдатъ, видавшій виды и цинично равнодушный ко всему, ложится на печь и хочетъ тушить огонь. Дѣвочкѣ страшно. Она слышитъ въ подпольѣ подозрительный шумъ и возню и молитъ старика:

— Голубчикъ, дѣдушка, не туши. Страшно мнѣ. Копаютъ! Ей-Богу, копаютъ,—слышь. Однова дыхнуть, копаютъ!

Митричъ равнодушно успокаиваетъ:

— Спи... Завернись съ головой и спи.

Анютка испуганно вскакиваетъ:

— Дѣдушка, кричитъ кто-то, не путемъ кто-то! Ей-Богу, право, кричитъ. Дѣдушка, милый, сюда идетъ.

Митричъ свое:

— Говорю, съ головой укройся.

Меня поразилъ этотъ вспомнившійся отрывокъ. Я слушалъ чтеніе „На днѣ“ и за голосомъ чтеца-артиста мнѣ слышался со страницъ горьковской пьесы жалобный крикъ Анютки:

— Дѣдушка, милый, страшно мнѣ. Дѣдушка, кричитъ кто-то, не путемъ кричитъ. Ей-Богу, право, кричитъ.

Становилось и самому страшно. Чувствовалось, что тамъ, „на днѣ“, совершается ужасное преступленіе, темная сила жизни душитъ живую люд-

скую душу. И вѣдь это не выдумано. Это на самомъ дѣлѣ. А мы сидимъ и слушаемъ. Потомъ поговоримъ и разойдемся, спокойно оставимъ жизнь итти своимъ чередомъ, послушные голосу Митрича:

— Спи!.. Завернись съ головой и спи... Говорю, съ головой укройся.

Чѣмъ объяснить это Митричево спокойствіе? Почему мы сами не подымаемся съ *Митричевой печки*, чтобы спуститься въ подполье, „на дно", посмотрѣть, что тамъ творится? Почему, наконецъ, и Лука, побывавъ „на днѣ", только слегка „подрумянилъ" бывшихъ людей, а не сдѣлалъ ихъ настоящими людьми? Почему онъ въ ночлежку только заглянулъ мимолетнымъ свѣтлымъ лучомъ и оказался безсильнымъ вывести обитателей ея къ свѣту? Это главный вопросъ, который рождается послѣ чтенія горьковской пьесы „На днѣ". Это, если хотите, и главный вопросъ той міровой пьесы, которая называется „Жизнью".

По своему внѣшнему строю „На днѣ" напоминаетъ „Мѣщанъ". Здѣсь также почти нѣтъ никакого дѣйствія. Авторъ самъ сознаетъ это и потому свою пьесу не называетъ ни драмой, ни комедіей. Онъ называетъ ее „картины", т. е. какъ бы моментальнымъ снимкомъ съ одного любопытнаго уголка жизни, вѣрнѣе, рядомъ такихъ снимковъ. Я бы склоненъ былъ назвать „На днѣ" даже не картинами жизни, а разсужденіемъ о жизни въ діалогической формѣ, на подобіе, напримѣръ, платоновскихъ діалоговъ, хотя бы юношескаго періода, какъ наиболѣе слабыхъ.

Пересказать содержаніе „На днѣ“ можно въ немногихъ словахъ. Въ подвалѣ ночлежки, „на днѣ“ жизни, ютится обычная босяцкая команда. Тутъ и профессіональный воръ Васька Пепелъ, молодой здоровый парень, и забитый нуждою слесарь Клещъ съ умирающей женой, и несчастное погибшее существо—дѣвушка Настя; тутъ и бывшіе интеллигенты, спившіеся баронъ и два артиста, одинъ Сатинъ, другой просто „актеръ“: имя забыто, стерлось, слиняло. Тутъ и мелкіе торговцы въ разноску и ломовые извозчики. Хозяева—подъ пару жильцамъ: мужъ, гнилой старикъ, подлый и гнусный, и жена, молодая здоровая баба, которая думаетъ, какъ бы ей скорѣе отдѣлаться отъ своего мужа — червя и стать свободною хозяйкой ночлежки, гдѣ у ней заведенъ романъ съ Васькой Пепломъ.

Въ ночлежкѣ темно, грязно и душно. Душно и физически, и нравственно. Ночлежники всѣ озлоблены. Озлоблены на жизнь, другъ на друга, на себя. Всѣ, хоть и безнадежно, думаютъ объ иной жизни, о жизни не „на днѣ“.

— Живутъ хоть и хуже, а хотятъ все лучше,—говоритъ одно дѣйствующее лицо „На днѣ“,— упрямые!

Въ ночлежку приходитъ новый жилецъ, странникъ Лука, и приноситъ съ собою какой-то свѣтлый лучъ. Съ его приходомъ въ ночлежкѣ, какъ будто, посвѣтлѣло, стало не такъ душно и тяжело; появились какія-то смутныя надежды на что-то отрадное, желанное, дорогое. Встрѣченный непривѣтливо старыми жильцами, Лука умѣетъ къ каж-

дому подойти съ доброй стороны, сказать ласковое слово, успокоить, мало того, — подбодрить, раздвинуть тѣсныя и мрачныя стѣны ночлежки, показать новые, широкіе и свѣтлые горизонты.

Жалкому алкоголику, „актеру“, у котораго и на днѣ омута, подъ толстымъ слоемъ грязи, сохранилось все же что-то похожее на искру Божію и котораго порой мучительно тянетъ со „дна“ на „верхъ“, Лука внушаетъ надежду, говоритъ о возможности снова стать человѣкомъ.

— Пропилъ я душу, старикъ, — говоритъ актеръ,—погибъ, братъ, я... Конченъ я...

Лука успокаиваетъ, бодритъ:

— Ну, чего? Ты... лѣчись! Отъ пьянства нынче лѣчатъ... Такая ужъ лѣчебница устроена для пьяницъ... чтобы, значитъ, ихъ лѣчить... Ну-ка, вотъ валяй! Иди!

Актеръ счастливъ. Онъ весь сіяетъ. Передъ нимъ вдругъ занимается заря новой жизни. Онъ вѣритъ въ свое возрожденіе и живетъ этой вѣрой.

Васькѣ Пеплу Лука также показываетъ просвѣтъ. Васька—сынъ вора. Онъ родился въ тюрьмѣ. Въ тюрьмѣ провелъ значительную часть своей жизни и чуетъ, что ему въ тюрьмѣ и умереть. А у него есть и сила, и молодость. Ему хотѣлось бы чего-нибудь больше ночлежки и тюрьмы. Онъ только стыдится сознаться въ своихъ думахъ. Лука понялъ его и сейчасъ же сталъ звать со „дна“ на „верхъ“. Онъ манитъ Ваську въ Сибирь, въ Сибирь не на каторгу или поселенье по приговору, а на вольное житье, на новую жизнь по доброй волѣ.

— Сибирь — страна хорошая! Золотая сторо-

на!—убѣждаетъ Ваську Лука.—Кто въ силѣ да въ разумѣ, тому тамъ, какъ огурцу въ парникѣ... Тамъ ты себѣ можешь путь найти... Тамъ такихъ надобно!.. Ты, слушай, иди!

Васька-воръ вспыхиваетъ надеждой и начинаетъ серьезно думать о подъемѣ со „дна". Онъ порываетъ связь съ Василисой, хозяйкой ночлежки, и усиленно зоветъ съ собой, какъ жену, Наташу, сестру Василисы, добрую и хорошую, чистую дѣвушку.

Всѣмъ другимъ Лука находитъ у себя ласку и слово утѣшенія. Онъ довѣрчиво слушаетъ наивныя полумечтанія, полувыдумки презираемой всѣми Насти. И та счастлива, что есть хоть одинъ, кто вѣритъ ей, что и она когда-то была человѣкомъ, что и у ней были святыя человѣческія чувства.

Онъ наконецъ, успокаиваетъ до-нельзя измученную страдалицу, умирающую жену слесаря Клеща Анну. Та боится, что страданія ея не кончатся смертью, что ее, можетъ быть, еще и за гробомъ ждутъ новыя муки. Лука увѣренно говоритъ:

— Не бойся, милая! Ничего не будетъ! Ничего! Ты вѣрь! Спокой и больше ничего! Призовутъ тебя къ Господу и скажутъ: „Господи, погляди-ка, вотъ пришла раба Твоя Анна"... А Господь взглянетъ на тебя кротко-ласково и скажетъ: „Знаю Я Анну эту! Ну, скажетъ, отведите ее, Анну, въ рай! Пусть успокоится... Знаю Я, жила она очень трудно... очень устала... Дайте покой Аннѣ"...

И Анна успокоилась. Тихо, радостно стало у ней на душѣ. Забыла всѣ горести. Если трудно было жить, то легко за то умерла.

И всѣмъ такъ, странникъ Лука, умѣлъ доброе слово во-время и къ мѣсту сказать. Всѣмъ, словно лучъ солнца, заглянувшій съ яснаго неба въ темное подполье, позолотилъ тяжелое житье, бытье, у всѣхъ вызвалъ на суровое и мрачное лицо свѣтлую и радостную улыбку.

— Человѣка жалѣть надо, — говорилъ онъ.— Человѣка приласкать никогда не вредно. Христосъ-отъ всѣхъ жалѣлъ и намъ такъ велѣлъ.

Эти мягкія любовныя рѣчи Луки, его жалостливое отношеніе ко всякому „душевному“ горю человѣка, умѣнье найти ключъ къ каждому сердцу, выдвигаютъ Луку на темномъ фонѣ „Дна“ свѣтлымъ и „теплымъ“ пятномъ.

Самъ онъ въ жизни, очевидно, не мало перенесъ, и жизнь его помяла сильно. Анна какъ-то говоритъ ему:

— Гляжу я на тебя, дѣдушка... на отца ты похожъ моего... на батюшку... такой же ласковый... мягкій...

На это Лука съ добродушнымъ смѣхомъ отвѣчаетъ:

— Мяли много, оттого и мягокъ.

Но герои Горькаго всѣ „помяты“ довольно, однако, въ нихъ мягкости доселѣ не было и слѣда. Чѣмъ больше жизнь ихъ мяла, тѣмъ больше они черствѣли сердцемъ, озлоблялись. У нихъ въ каждомъ словѣ чувствовалось раздраженіе, злоба, желаніе досадить.

Лука совершенно иное. У него нѣтъ ни къ кому злобы. Онъ въ жизнь идетъ не съ раздраженіемъ и мщеніемъ, а съ любовью и примире-

ніемъ. Это для Горькаго новый типъ и типъ интересный. Съ нимъ Горькій дѣлаетъ новый шагъ и шагъ желанный, счетомъ въ своей сравнительно недавней литературной дѣятельности третій.

Впервые авторъ „На днѣ“ выступилъ, какъ извѣстно, съ длинной вереницей „бывшихъ“ людей. Горькій, сочною сильною кистью, рѣзкимъ, чисто рѣпинскимъ мазкомъ, на фонѣ приволья степей или морского простора рисовалъ одинъ за другимъ рядъ талантливыхъ набросковъ босяковъ. Всѣ эти босяки представлялись автору могучими натурами съ сильнымъ характеромъ, съ широкими запросами духа. Они не могли ужиться въ тѣсныхъ рамкахъ будничной жизни со скучною заботою о брюхѣ и съ еще болѣе скучною работою для сытости этого брюха. Ихъ давило тупое довольство сытою жизнью. Имъ было тошно среди него. Ихъ манили къ себѣ ширь, просторъ, свобода.

Въ „Коноваловѣ“ въ концѣ разсказа пекарь—босякъ, Коноваловъ, сманиваетъ своего подручнаго бродяжить:

— Совсѣмъ напрасно ты, Максимъ, въ городахъ трешься. И что тебя къ нимъ тянетъ? Тухлая тамъ жизнь и тѣсная. Ни воздуху тамъ нѣтъ, ни простору; ничего, что человѣку надо. Люди? На кой ихъ чортъ тебѣ? Ты—человѣкъ понимающій, грамотный, на что тебѣ люди? Чего тебѣ отъ нихъ надо? Да потомъ, люди вездѣ есть... Хочешь со мной идти въ Ташкентъ?.. А потомъ на Амуръ хватимъ... идетъ? Я, братъ, рѣшилъ ходить по землѣ въ разныя стороны. Это лучше всего. Идешь и все видишь новое... И ни о чемъ не думается...

Дуетъ тебѣ вѣтерокъ на встрѣчу и точно онъ выгоняетъ изъ души разную пыль. Легко и свободно. Никакого ни отъ кого стѣсненія... Айда?

Эта босяцкая „легкость“ души подкупала автора „Бывшихъ людей“, опьяняла его. Среди пошлой и сытой жизни такъ называемыхъ *осѣдлыхъ* людишекъ, Горькій готовъ былъ видѣть въ своихъ босякахъ сверхъ-человѣковъ, истинныхъ героевъ. Ихъ устами онъ судилъ жизнь, бросалъ въ глаза горькую правду неправдамъ жизни, выражалъ свой протестъ противъ общей тупости и пошлости среды.

Но вотъ шло время, Горькій писалъ разсказъ за разсказомъ, галлерея его босяковъ-героевъ росла, а вмѣстѣ съ нею росъ и самъ авторъ, зрѣлъ его талантъ, углублялось его пониманіе жизни. Горькій сталъ понимать, что одного раздраженія неправдой и пошлостью жизни для писателя мало, что съ однимъ протестомъ противъ настоящаго такъ-же, какъ и въ „каретѣ прошлаго“, выражаясь словами самого Горькаго, далеко не уѣдешь и что для устроенія жизни необходимо какъ ясное разумѣніе грядущаго, его задачъ и идеаловъ, такъ и спокойное и, если хотите, любовное, вдумчивое изученіе того, что есть.

Созрѣвъ, Горькій глубже заглянулъ въ глаза Зрѣлой Правдѣ жизни и она ему сказала:

— Не суди сурово жизнь и не казни злобно людей. Не твое писательское, это дѣло. Ты призванъ быть вождемъ, учителемъ жизни, а не судьей ея. Да и нельзя судить жизнь *очень* строго. Какъ бы ни была плоха жизнь и какъ бы она насъ больно ни удручала, она все-таки не стоитъ

недвижно, хуже не дѣлается: медленно, можетъ быть, чуть замѣтно, но все-же движется впередъ, приближается къ лучшему будущему. Если же тебѣ кажется этого мало, если ты недоволенъ сдѣланнымъ *до тебя* и хотѣлъ бы, чтобы въ жизни правда говорила смѣлѣе, а добро властнѣе царило всюду, ты не кричи, не возмущайся, что другіе сузили, обкургузили жизнь, а войди въ жизнь самъ живою и свѣтлою силою, раздвинь жизнь, расширь ее, позолоти, расцвѣти добромъ и правдою. Не ты одинъ мучаешься неправдами жизни, не ты одинъ болѣешь сердцемъ о нихъ. Были люди, и не хуже, и до тебя. Что могли сдѣлать, они сдѣлали. Ты можешь лучше? Дѣлай! *Дѣлай*, а не шуми. Не возмущайся только жизнью, а врачуй ее. Не протестуй лишь противъ нея, а а научи, какъ лучше быть. Подумай, пойми, научись и научи другихъ. Не зови человѣка, какъ Коноваловъ, отъ людей, а проведи его къ людямъ, помоги ему стать человѣкомъ среди нихъ и сдѣлать другихъ *людьми*.

Понялъ *эту* правду Горькій и въ своемъ художественномъ изображеніи жизни пошелъ дальше, сдѣлалъ новый шагъ. Онъ по новому подошелъ къ жизни: не съ раздраженнымъ озлобленіемъ протестующаго босяка, а съ серьезнымъ, вдумчивымъ окомъ зрѣлаго бытописателя. Картина представилась по-старому грустная. Все нищенски бѣдно духомъ, мѣщански убого, сѣро, безцвѣтно. Явились „Мѣщане“.

Въ „Мѣщанахъ“ Горькій видитъ всю горькую правду безсѣменовщины, но онъ уже не судитъ,

не казнитъ ее. У него жалки старики, жалки и дѣти. Одни не нашли правды, другіе не знаютъ, гдѣ ее искать. Тутъ нѣтъ виноватыхъ, есть несчастные. Вамъ одинаково жалко всѣхъ.

— Жалко этихъ бѣдныхъ „мѣщанъ“. Такъ нельзя оставить ихъ жить. Какъ бы помочь имъ?— вотъ основное впечатлѣніе, которое оставляютъ послѣ себя „Мѣщане“ Горькаго.

Въ „На днѣ“ Горькій дѣлаетъ еще новый, третій шагъ и даетъ ясный отвѣтъ на вопросъ: „какъ быть? что дѣлать?“

— Надо жалѣть людей, любить ихъ даже „на днѣ“ — говоритъ Горькій своимъ Лукою. — Надо бережно подойти къ нимъ, утѣшить ихъ, успокоить, ободрить; надо всѣхъ ихъ со „дна“ звать „на верхъ“.

Дорогое это новое у Горькаго слово! Желанный новый типъ!.. Онъ новъ не только въ литературномъ развитіи Горькаго, но, скажу болѣе, и во всей русской литературѣ.

Вся русская литература съ первыхъ дней ея появленія представляетъ одно органическое цѣлое, одинъ живой организмъ, который непрестанно движется и развивается; развивается не внѣшне только, со стороны языка и формы, но и внутренне, со стороны идей, духовнаго содержанія.

Исторія этого развитія, въ высокой степени интересна. Въ русскомъ обществѣ и вообще въ народѣ идетъ непрестанная внутренняя работа. Народная душа недовольна собой. Борясь вѣками за внѣшнее устроеніе жизни, около себя, она ве-

детъ вѣчную борьбу со зломъ внутри себя, постоянно кается въ своихъ неправдахъ жизни.

Литература съ чуткостью компасной стрѣлки отмѣчаетъ это недовольство русской народной души собою. Какое-бы крупное произведеніе русской литературы мы ни взяли, основная нота вездѣ одна—покаянная. Русскій писатель своимъ перомъ, какъ скальпелемъ, вскрываетъ одинъ за другимъ гнойники народной души. И когда читаешь страницу за страницей эти выстраданныя „Ябеда“ Капниста, „Недоросль“ Фонвизина, грибоѣдовское „Горе отъ ума“, „Мертвыя души“ Гоголя, „Темное Царство“ Островскаго, „Карамазовщина“ Достоевскаго, „Обломовщина“ Гончарова, „Власть тьмы“ Толстого и многое другое,—кажется, что все это одинъ общій безконечный комментарій къ покаянному пятидесятому псалму Давида: „помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости и по множеству щедротъ Твоихъ, изгладь беззаконія мои. Многократно омой меня отъ беззаконія моего и отъ грѣха моего очисти меня, ибо беззаконія мои *я знаю* и грѣхъ мой всегда предо мною“.

Но *отмѣчая* всѣ неправды жизни, русскій литературный геній долгое время былъ не въ силахъ *намѣтить* „правой“, праведной жизни. Лермонтовъ въ своемъ предисловіи къ „Герою нашего времени“ самъ пишетъ: „Герой нашего времени“—портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи... Но не думайте, чтобы авторъ этой книги имѣлъ когда-нибудь гордую мечту сдѣлаться исцѣлителемъ людскихъ пороковъ, Боже избави!

Будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее излѣчить—это ужъ Богъ знаетъ!

Лермонтовъ только называетъ болѣзнь, рисуетъ язву жизни, а лѣчить не берется: не умѣетъ, слова врачебнаго не знаетъ.

— То слово знаетъ Богъ,—оканчиваетъ онъ.

Самому-же Лермонтову это слово, *слово жизни* невѣдомо. У него есть сильный и гибкій стихъ, яркіе образы, чуткая къ голосу жизни душа, но у него въ сердцѣ нѣтъ стклянки съ живою водою, которою сказочный царевичъ спрыснулъ и пробудилъ все сонное царство, оживилъ мертвыя души.

Не знаютъ этого слова писатели и послѣ Лермонтова. Гоголевскія „Мертвыя души“ такъ и остались мертвыми. Гоголь не оживилъ ихъ. Онъ искренно и глубоко вѣрилъ въ жизненныя силы русской народной души, былъ убѣжденъ, что скажи онъ только *„слово“* и оживутъ мертвецы, по новому, дивнымъ языкомъ заговорятъ „воскресшія души“, но слово это такъ и не могъ сказать.

Достоевскій пошелъ дальше Гоголя. Онъ еще глубже заглянулъ въ тайники души и тамъ подъ грудой пепла, давно остывшей золы нашелъ живую искру Божію, которую не заглушилъ даже „Мертвый домъ“, но эта искра въ душѣ тлѣетъ, не можетъ разгорѣться чистымъ яркимъ пламенемъ, свѣтлымъ Божіимъ огнемъ. Темная сила карамазовщины, глушитъ ее. Какъ избыть эту карамазовщину, гдѣ найти силы побороть ее, — Достоевскій не говоритъ. Чувствуется безсиліе Лермонтова: „будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее лѣчить Богъ знаетъ“.

Сознается ужасъ положенія, карамазовщина

томитъ душу, хочется вырваться изъ ея тисковъ, а выхода не видится. Понята вся неправда жизни, но правда жизни, полная, живая, пока все еще невѣдома. Люди чувствуютъ, что имъ для „живой“ жизни, чего-то не достаетъ, но чего именно не знаютъ.

У Тургенева Рудинъ съ грустью сознается: „мнѣ природа дала много, но я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ, не оставивъ за собой никакого благотворнаго слѣда. Все мое богатство пропадетъ даромъ. Мнѣ *не достаетъ... я самъ не могу сказать, чего именно не достаетъ мнѣ...* Мнѣ не достаетъ, вѣроятно, того, безъ чего нельзя двигать сердцами людей; а господство надъ одними умами и непрочно, и безполезно.

Ту-же непригодность къ жизни сознаетъ подъ конецъ и Лаврецкій въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“. Лишнимъ среди людей чувствуетъ себя и Вронскій у Толстого въ „Аннѣ Карениной“. Вронскій, какъ и другіе герои своего времени въ русскомъ обществѣ, „Онѣгинъ“, Печоринъ, и Рудинъ, и Лаврецкій, и если хотите, Обломовъ, глубоко несчастный и жалкій человѣкъ, несчастный даже въ минуты кажущагося несомнѣннаго счастья. Счастье всѣхъ этихъ героевъ своего времени всегда внѣшнее, нутромъ-же они всегда глубоко несчастны. Сколько-бы имъ ни было дано всякихъ благъ и талантовъ отъ природы, имъ всегда чего-то *недостаетъ*.

— „*Чего именно не достаетъ мнѣ, я самъ не знаю*, говоритъ Рудинъ;—но чего-то не достаетъ и не достаетъ великаго, важнаго, главнаго. Не достаетъ пониманія *всей* правды жизни, разумѣнія

смысла бытія, своего назначенія; главное, не достаетъ силъ эту правду въ жизни осуществить, свое назначеніе исполнить. У бѣдныхъ героевъ своего времени бѣдность духа. Они не знаютъ, куда дѣть себя, чѣмъ заполнить пустоту души.

Рудинъ, напр., откровенно сознается: „странная, почти комическая (лучше-бы сказать, трагическая) моя судьба. Я отдаюсь весь и не могу отдаться. Кончу тѣмъ, что пожертвую собою за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду“.

Вронскій говоритъ то-же. Послѣ смерти Карениной онъ ѣдетъ въ Сербію. Тамъ вспыхнуло возстаніе и онъ бросился туда. У себя дома на родинѣ Вронскій не видитъ себѣ дѣла, не находитъ работы. Его привлекаетъ случайное и внѣшнее обстоятельство. Прощаясь на вокзалѣ, онъ говоритъ провожающимъ: „жизнь для меня ничего не стоитъ; *какъ орудіе* я еще могу пригодиться, но, какъ человѣкъ, я—развалина:

Впрочемъ по мѣрѣ духовнаго роста автора „Анны Карениной“, въ произведеніяхъ его начинаетъ брежжить просвѣтъ. Герои Толстого, хотя и поздно, но все-же узнаютъ всю правду жизни. Вспомните „Смерть Ивана Ильича“ и „Хозяинъ и работникъ“. И хозяинъ, и Иванъ Ильичъ передъ лицомъ смерти поняли всю правду жизни. Хозяинъ, замерзая, думаетъ про себя:

— Что жъ, вѣдь я не зналъ, въ чемъ дѣло. Раньше не зналъ. За то теперь *знаю*. Теперь ужъ безъ ошибки. Теперь *знаю*.

Всю правду жизни передъ смертью узналъ и Андрей Волконскій въ „Войнѣ и Мирѣ“. Съ знаніемъ

ея умерла и Анна Каренина. Въ описаніи смерти ея подъ колесами поѣзда мы читаемъ: „И свѣча, при которой она читала *исполненную тревогъ, обмана, горя и зла книгу жизни*,—вспыхнула *болѣе яркимъ, чѣмъ когда-нибудь свѣтомъ, освѣтила ей все, что прежде было во мракѣ*, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла“.

Замѣчательная черта! Всѣ толстовскіе герои только въ моментъ смерти понимаютъ истинный смыслъ жизни. Они еще не въ силахъ и не умѣютъ хорошо *жить*, они могутъ пока только хорошо *умереть*. Но жизнь вѣдь красна не однимъ концомъ, а всѣмъ своимъ ходомъ. Толстой почуялъ это и на закатѣ своей жизни написалъ „Воскресеніе“, гдѣ Нехлюдовъ узнаетъ правду жизни не передъ лицомъ своей смерти, а при жизни, во время суда надъ духовно-убитой имъ Катей.

Впрочемъ, и „Воскресеніе“ не рѣшаетъ вопроса окончательно, не говоритъ всего, что нужно для жизни. Въ „Воскресеніи“ Нехлюдовъ *сознаетъ* свою вину передъ Катей, а черезъ это постепенно, шагъ за шагомъ, и свой долгъ передъ жизнью, но онъ только *сознаетъ*. Нехлюдовъ, какъ и другіе близкіе ему по духу толстовскіе герои, Платонъ Каратаевъ, Акимъ Левинъ, послѣ обрѣтенія вѣры, какъ-то воспринимаютъ открывшуюся правду, если можно такъ выразиться, умомъ, головой, а не всѣмъ сердцемъ, не всею крѣпостью силъ, по евангельскому слову. Во всѣхъ просвѣтленныхъ толстовскихъ типахъ, словно, какъ не хватаетъ теплоты. Они, какъ будто, *знаютъ* истину, но не *чувствуютъ* ея. Въ нихъ не чувствуется нужной мягко-

сти. Лука дополняетъ, или, по крайней мѣрѣ, долженъ дополнять.

Въ „На днѣ“ Наташа уговариваетъ Клеща быть помягче, поласковѣе съ умирающей женой.

— Знаю,—бурчитъ тотъ.

— Знаешь...—возражаетъ Наташа.—Мало знать, ты понимай, т. е. чувствуй.

И такъ отъ всей пьесы, отъ всѣхъ рѣчей центральнаго лица, Луки, вѣетъ такою теплотою чувства, любовнымъ отношеніемъ къ людямъ.

Баронъ обидѣлъ Настю недовѣріемъ, что у ней была чистая дѣвичья любовь. Настя въ слезахъ уходитъ. Лука сейчасъ уговариваетъ барона идти утѣшить несчастную дѣвушку.

— Поди-ка вотъ... приласкай! Человѣка приласкать никогда не вредно.

Присутствующая тутъ Наташа тронута лаской старика, умилена его сердечнымъ тономъ.

— Добрый ты, дѣдушка, — говоритъ она...— Отчего ты такой добрый?..

— Добрый, говоришь!—отвѣчаетъ Лука.—Ну... и ладно, коли такъ... да. Надо, дѣвушка, кому-нибудь и добрымъ быть... жалѣть людей надо! Христосъ-отъ всѣхъ жалѣлъ и намъ такъ велѣлъ... Я-те скажу—во-время человѣка пожалѣть... хорошо бываетъ! Вотъ примѣрно, служилъ я сторожемъ на дачѣ... у инженера одного подъ Томскомъ-городомъ... Ну, ладно! Въ лѣсу дача стояла, мѣсто глухое.., а зима была и одинъ я, на дачѣ-то... Славно—хорошо! Только разъ—слышу—лѣзутъ!

— Воры?

— Они. Лѣзутъ, значитъ, да!.. Взялъ я ружь-

ишко, вышелъ... Гляжу—двое... открываютъ окно—и такъ занялись дѣломъ, что меня и не видятъ. Я имъ кричу: ахъ вы!.. пошли прочь!.. А они, значитъ на меня съ топоромъ... Я ихъ упреждаю—отстаньте, молъ! А то сейчасъ—стрѣлю!.. Да ружьишко-то, то на одного, то на другого и навожу... Они—на колѣни пали: дескать,—пусти! Дѣдушка, говорятъ, дай хлѣбца Христа ради! Идемъ, говорятъ, не жрамши. Вотъ-те и воры, милая... *(смѣется)*... вотъ-те и съ топоромъ! Да... Хорошіе мужики оба... Я говорю имъ: вы-бы прямо-бы хлѣба просили. А они—надоѣло, говорятъ... просишь-просишь, а никто не даетъ... обидно!.. Такъ они у меня всю зиму и жили. Одинъ, — Степаномъ звать,—возьметъ, бывало, ружьишко и закатится въ лѣсъ... А другой,—Яковъ былъ,—все хворалъ, кашлялъ все... Втроемъ, значитъ, мы дачу-то и стерегли. Пришла весна—прощай, говорятъ, дѣдушка! И ушли...—въ Россію побрели...

— Они бѣглые? Каторжане?

— Дѣйствительно—такъ, — бѣглые... съ поселенья ушли... Хорошіе мужики!.. Не пожалѣй я ихъ—они-бы, можетъ, убили меня... али еще что... А потомъ—судъ да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма—добру не научитъ и Сибирь не научитъ... *а человѣкъ—научитъ... да! Человѣкъ—можетъ добру научить .. очень просто!*

Дальше Лука еще сильнѣе говоритъ о любовномъ и бережномъ отношеніи къ человѣку. Онъ хочетъ не только жалѣть человѣка, онъ хочетъ уважать его, поднять его снизу и поставить на ряду съ нами, можетъ быть, выше насъ.

Васька-воръ подъ вліяніемъ рѣчей Луки и вспыхнувшей въ немъ чистой любви къ Наташѣ говоритъ:

— Я одно чувствую: надо жить иначе, чѣмъ я жилъ. Лучше надо жить. Надо такъ жить, чтобы самому себя можно мнѣ было уважать.

Присутствующій при разговорѣ Васьки съ Наташей Лука поддерживаетъ его.

— Вѣрно, милый! Дай тебѣ Господи... Помоги тебѣ Христосъ! Вѣрно: человѣкъ долженъ уважать себя...

Затѣмъ, обращаясь къ Наташѣ, добавляетъ:

— Скажу я тебѣ, дѣвонька: „иди за него, иди! Онъ—парень ничего, хорошій. Ты только почаще напоминай ему, что онъ—хорошій парень, чтобы онъ, значитъ не забывалъ про это!“

Какою любовью къ людямъ, какимъ уваженіемъ къ человѣку, какою вѣрою въ несмываемость образа Божія въ душѣ послѣдняго вора и пропойцы дышатъ всѣ эти рѣчи Луки. Они ясно показываютъ, что Горькій понялъ, наконецъ, о чемъ главнымъ образомъ тоскуютъ люди и чѣмъ тутъ можно было-бы помочь. У него въ „На днѣ“ Лука, какъ только умостился въ ночлежкѣ и оглядѣлся въ ней, грустно начинаетъ напѣвать:

„Середь но-очи... пу-уть-дорогу не-е видать...
Эхъ, и не вида-ать пути-и“.

Эту пѣсню, другими только словами, каждый на свой ладъ, съ затаенною грустью въ минуты тяжелой задумчивости напѣваемъ и всѣ мы. Какъ только сосредоточишься немного въ себѣ, огля-

дишься на себя въ жизни кругомъ, такъ и затягиваешь вмѣстѣ съ Лукою:

„Середь но-очи... пу-уть-дорогу не-е видать...
Эхъ, и не вида-ать пути-и“.

И что дальше думаешь, то тяжелѣе становится на душѣ; что больше напрягаешь глаза, то гуще становится тьма кругомъ. Идутъ дни за днями, а куда самъ идешь не знаешь. Словно въ лѣсу темномъ бродишь. Кажется, что нѣтъ никуда выхода, какъ изъ тюрьмы какой. И тогда готовъ заодно съ героями ночлежки пѣть:

„Солнце всходитъ и заходитъ,
А въ тюрьмѣ моей темно“.

И чутко прислушиваешься въ такія минуты, не идетъ ли кто-нибудь къ тебѣ на помощь, кто вывелъ бы тебя на вѣрную дорогу; ловишь каждый звукъ, ждешь не дождешься слова, которое блеснуло бы молніей, ярко прорѣзало бы всю густую тьму ночную и хоть на мигъ освѣтило бы путь-дорогу жизни.

Помню, разъ позднею осенью, въ холодный пасмурный день подъ мелкимъ пронизывающимъ дождемъ я видѣлъ на одномъ изъ каналовъ близъ Петербурга толпу бурлаковъ. Они противъ теченія тащили рядъ пустыхъ барокъ. Всѣ были мокры до нитки. Одежда прилипла къ тѣлу, лица посинѣли, руки окоченѣли. Они медленно по вязкой глинѣ переставляли ноги и, тяжело переводя дыханіе, напѣвали:

„Ты взойди, взойди, солнце красное,
Обогрѣй ты насъ, людей бѣдны-ихъ“.

И въ этомъ пѣніи чуялось, что имъ солнце нужно не для художественныхъ только впечатлѣній, не для вящшей красоты пейзажа, а что это— физическая потребность, что имъ и холодно, и мокро, невыносимо безъ солнца.

Вспоминая эту мимолетную, случайную встрѣчу, я думаю, что картина этихъ бурлаковъ можетъ служить прекраснымъ символомъ унылой будничной прозы нашей обычной жизни. Всѣ мы, какъ бурлаки на лямкѣ пустыя барки, тянемъ изо дня въ день свою сѣренькую, часто совершенно пустую, безъ всякаго груза — идейнаго содержанія жизнь. И порой становится невыносимо, мучительно—чувствуется холодъ и пустота души, и тогда то громкимъ крикомъ, то робкимъ шопотомъ вырывается мольба:

„Ты взойди, взойди, солнце красное,
Обогрѣй ты насъ людей бѣдны-ихъ“.

Эту всеобщую жажду тепла и свѣта среди темной и холодной ночи въ дорогѣ жизни, ожиданія слова, которое блеснуло молніей во мракѣ и тепломъ солнца обогрѣло душу, Горькій учуялъ, наконецъ. Послѣ долгихъ, такъ сказать нащупываній дороги, подошелъ къ вѣрному пути. Онъ попытался бросить лучъ яркаго солнца на мрачное дно жизни; задумалъ Луку, который бы принесъ усталымъ и озлобленнымъ жизнью силу и бодрость духа, озлобленнымъ—душевный миръ, нравственнымъ мертвецамъ—воскресеніе, всѣмъ свѣтъ и тепло души.

Попытка не удалась. Лука не вышелъ тѣмъ,

чѣмъ, *думаю,* задумалъ его Горькій, оказался не въ силахъ „На днѣ“ сдѣлать то, что хотѣлъ бы заставить его сдѣлать авторъ.

У художниковъ-живописцевъ мнѣ приходилось наблюдать такія досадныя, мучительныя неудачи. Пишетъ человѣкъ съ натуры и вдругъ море, или облака, или горныя вершины причудливо обольются солнцемъ, получаются удивительной красоты цвѣта и оттѣнки, художественный эффектъ, въ своемъ родѣ исключительный. Художникъ лихорадочно хватается за кисть, мѣшаетъ краски, спѣшно десятки разъ мѣняетъ ихъ, ничего не выходитъ. И то, да не то. Передать на полотно подмѣченную и учуянную дивную красоту природы не удается; нѣтъ такой нужной краски на палитрѣ художника, или же и есть, да художникъ не знаетъ ея, не умѣетъ смѣшать ее, *секретъ ея ему еще не открылся.* Такая досадная неудача постигла и нашего художника слова.

Понимая нужду могучаго и животворнаго слова и страстно желая сказать его, Горькій не знаетъ, какое именно это слово, не умѣетъ его выразить. У него нѣтъ для этого на палитрѣ соотвѣтствующей краски.

Устами главнаго своего героя, Луки, Горькій признается въ этомъ. У него въ „На днѣ“ есть замѣчательная въ этомъ отношеніи сцена. Актеръ впервые сталкивается съ Лукой и, какъ живая иллюстрація къ словамъ Луки, что люди живутъ хоть и хуже, а хотятъ быть, или, по крайней мѣрѣ, казаться лучше, предлагаетъ ему прочесть стихи, очевидно, вспоминая свое доброе былое.

Старикъ соглашается слушать. Актеръ хочетъ читать и не можетъ: забылъ.

— Раньше у меня, старикъ, была хорошая память... А теперь вотъ... кончено, братъ!.. Все кончено для меня... Ничего не помню... ни слова... Не помню! Любимое стихотвореніе... и забылъ... Плохо это старикъ?

Лука. Да ужъ чего хорошаго, коли любимое забылъ? въ любимомъ вся душа.

Актеръ. — Пропилъ я душу, старикъ... Я, братъ, погибъ... А почему погибъ? Вѣры у меня не было... Конченъ я...

Лука.—Ну чего? Ты... лѣчись. Отъ пьянства нынче лѣчатъ, слышь!.. Ну-ка, вотъ, валяй! Иди...

Актеръ (*задумчиво*).—Куда? Гдѣ это!

Лука.—А это... *въ одномъ городѣ... какъ его? Названіе у него эдакое... Да я тебѣ городъ назову!..* Ты только вотъ чего: ты пока готовься. Воздержись!.. Возьми себя въ руки—и терпи... А потомъ вылѣчишься... и начнешь жить снова... Хорошо, братъ, снова-то!

Замѣчательная сцена! Ее можно обобщить, расширить, перенести мѣсто дѣйствій изъ ночлежки въ бель-этажъ, на биржу, въ любыя палаты, зала и кабинеты и тогда актеръ станетъ собирательнымъ лицомъ, нарицательнымъ именемъ.

Раньше у него была память, а потомъ онъ сталъ забывать. Любимое стихотвореніе, выраженіе всего самаго дорогого и святого и то забылъ. А мы развѣ не то же? Мы въ чаду жизни, въ пьяномъ угарѣ ея, развѣ не забываемъ постепенно

самое дорогое и святое? И тогда не къ старику, а къ человѣку, которому вѣримъ, на котораго возлагаемъ, если только возможно, всѣ надежды на спасеніе, обращаемыя съ вопросомъ:

— Плохо это?

— Да ужъ чего хорошаго, коли любимое, самое дорогое и святое забылъ? — отвѣчаетъ онъ.—Въ любимомъ вся душа.

Въ „На днѣ“ такимъ человѣкомъ для публики является Горькій. Публика ждетъ отъ него слова исцѣленія, указанія пути. И Горькій вѣритъ, что выходъ есть; онъ убѣжденъ, что человѣкъ всегда можетъ подняться со всякаго дна. Онъ громко исповѣдуетъ, что есть такое слово, которое творитъ нравственныя чудеса, которое мертвыхъ воскрешаетъ, разслабленныхъ укрѣпляетъ, погибшихъ со дна жизни подымаетъ. Но какое это слово, не знаетъ.

— Есть такое слово,—какъ бы говоритъ Горькій,—и слово это силы необыкновенной... Я только не могу сказать его... Не знаю... Когда узнаю, скажу...

Узнаетъ-ли его Горькій? Скажетъ-ли? Это большой вопросъ. Слово могучей нравственной силы, сказанное крупнымъ талантомъ въ яркой художественной формѣ, творитъ чудеса. Въ Евангеліи есть великое слово: „если имѣете вѣру, какъ горчичное зерно, и скажете горѣ сей: „двинься“ и не усомнитесь, будетъ вамъ по слову вашему“.

— Но когда придетъ Сынъ Человѣческій,—приявляетъ Евангеліе,—найдетъ ли Онъ вѣру сію?

И для Горькаго въ данную минуту не то важ-

но, когда онъ узнаетъ слово, которое двигаетъ горами и которое духовно перерождаетъ человѣка, а... захочетъ ли онъ узнать его, будетъ ли онъ искать, или останется при тѣхъ словахъ, которыя зналъ ранѣе, и руководясь которыми, творилъ доселѣ. Пойметъ ли онъ, что самое полное освѣщеніе всѣхъ темныхъ путей жизни, можно найти только въ ученіи Того, Кто говорилъ о Себѣ: „Я—путь, истина и жизнь“ и что разгадка всѣхъ тайнъ бытія лежитъ лишь въ тайнѣ единенія съ Нимъ, въ возможно—полномъ воплощеніи Его въ себѣ, въ своемъ сердцѣ.

Я припоминаю сейчасъ извѣстную картину Леонардо да-Винчи „Тайная вечеря“. Когда я смотрѣлъ ее послѣдній разъ, я передъ нею, вѣрнѣе передъ блѣдною тѣнью ея, печальными остатками, вспомнилъ другой евангельскій моментъ, другую вечерю, „Бракъ въ Канѣ Галилейской“. Одна вечеря, послѣдняя, была въ началѣ проповѣди Спасителя, другая,—первая, была въ концѣ. Между обѣими этими вечерями тѣсная связь, и онѣ обѣ имѣютъ глубокій, міровой мистическій смыслъ.

На бракѣ, въ Канѣ, Іисусъ Христосъ совершилъ свое первое чудо, впервые проявилъ свою божественную силу, и это чудо состояло въ томъ, что Онъ воду претворилъ въ лучшее вино. Спаситель тѣмъ сразу намѣтилъ свою основную задачу и вмѣстѣ средство, способъ къ осуществленію ея.

Онъ пришелъ дать людямъ миръ, радость, свѣтлый покой души. Онъ пришелъ жизнь, полную печали, тоски и томленія, сдѣлать свѣтлымъ радост-

нымъ пиромъ, превратить ее въ торжественный праздникъ брака,—въ праздникъ тѣснаго единенія, живой любви и постояннаго общенія человѣка съ Богомъ. Но для того, чтобы вся жизнь человѣчества стала однимъ сплошнымъ радостнымъ пиромъ, брачнымъ торжествомъ, необходимо *чудо*, необходимо нравственное перерожденіе человѣка, необходимо, чтобы *вода превратилась въ лучшее вино*.

Въ концѣ своей проповѣди, на Тайной вечери, Спаситель окончательно раскрываетъ тайну брачнаго пира, единенія человѣка съ Богомъ. Онъ дополняетъ и углубляетъ тайну перваго чуда. Тамъ на бракѣ въ Канѣ, Онъ воду претворилъ въ вино, здѣсь на Тайной вечери претворилъ хлѣбъ въ Свое Тѣло и вино въ Свою Кровь и далъ это ученикамъ въ пищу.

Великая и глубокая тайна! Завершеніе брачнаго единенія человѣка съ Богомъ возможно только при такомъ чудѣ нравственнаго перерожденія, когда Христосъ полностью войдетъ въ насъ, когда Онъ станетъ нашимъ тѣломъ и нашею кровью, неотъемлемою принадлежностью нашего существа.

Я смотрѣлъ на картину, переходилъ отъ картона къ картону и снова возвращался къ дорогой тѣни леонардовскаго произведенія. Мнѣ все болѣе и болѣе становился понятенъ геніальный замыселъ художника. Глаза Спасителя были полузакрыты, взоръ опущенъ и, казалось, куда-то ушелъ вглубь, далеко-далеко! Отъ всей его фигуры, отъ божественно-свѣтлаго лица и отъ недоумѣвающе распростертыхъ по столу рукъ вѣяло всепрощающей любовной скорбью. Это была скорбь отъ тупаго

непониманія однимъ даже изъ близкихъ учениковъ основной тайны жизни, тайны брачнаго единенія съ Богомъ.

Лица учениковъ-апостоловъ на картинѣ полны смущенія и тревожнаго недоумѣнія.

— Одинъ изъ васъ предастъ Меня,—сказалъ Учитель ученикамъ, и одни изъ нихъ на картинѣ да-Винчи, какъ-бы уйдя въ себя, провѣряютъ въ сосредоточенной задумчивости свою совѣсть другіе-же оживленно говорятъ, дѣлаютъ догадки другъ передъ другомъ. Вы ясно читаете на ихъ лицахъ, какъ сердца ихъ охватываетъ холодный ужасъ при мысли, неужели то, что говоритъ Учитель, можетъ въ дѣйствительности быть, неужели тайна брака можетъ не свершиться.

И этотъ ихъ ужасъ, если вы долго стоите передъ картиной, начинаетъ переходить на васъ. На заднемъ планѣ картины, за спинами сидящихъ на вечери виднѣются раскрытыя окна и дверь. Сквозь нихъ видны смутныя очертанія дали. Ваша мысль уносится въ эту даль, выходитъ изъ тѣсной горницы на свободу, и передъ вами развертывается весь міръ, вся историческая жизнь людей. Подъ впечатлѣніемъ леонардовской картины и пережитыхъ передъ нею думъ у васъ въ душѣ подымается робкій вопросъ: „а тамъ, въ этой смутной дали вѣковъ прошлаго, свершилась ли тайна брачнаго единенія человѣка съ Богомъ? пріобщилось-ли человѣчество ко Христу? Воплощенная Божія Правда и Любовь претворились ли въ людскую плоть и кровь? И вамъ становится жутко. Вы чувствуете, что необходимаго для брака чуда человѣчество еще не

пережило, что оно и не думаетъ о бракѣ, не собирается на брачный пиръ, на Тайную вечерю любви. Далеко до этой свѣтлой брачной поры и русскому народу. „Мертвыя души“ Гоголя, „Братья Карамазовы“ Достоевскаго, „Власть тьмы“ Толстого, „На днѣ“ Горькаго съ грустной очевидностью показываютъ, что любовнаго и тѣснаго единенія русской народной души съ Богомъ, съ евангельской правдой и съ Христовой любовью еще не наступило, что это время у насъ пока впереди и что поэтому главная задача всѣхъ, кто можетъ, кому данъ на то особый даръ,—это всячески содѣйствовать возможно скорѣйшему наступленію воплощенія Христа въ жизни. Жизнь на каждомъ шагу мучительно даетъ чувствовать отсутствіе Бога, высокихъ евангельскихъ идеаловъ и свѣтлыхъ Христовыхъ чувствъ въ человѣкѣ и люди съ чуткой душой это живо сознаютъ.

У извѣстнаго нѣмецкаго художника Уде, есть рядъ въ высокой степени интересныхъ картинъ религіознаго евангельскаго содержанія. Отличительною особенностью ихъ является то, что главное лицо всѣхъ картинъ, Іисусъ Христосъ, рисуется вопреки обыкновенію, въ обстановкѣ современной намъ жизни. Въ Берлинѣ, напримѣръ, есть одна изъ самыхъ замѣчательныхъ въ этомъ отношеніи, картинъ „Свѣтлый Гость“.

Представлена комната бѣднаго нѣмецкаго ремесленника. По серединѣ грубо сколоченный голый деревянный столъ. Хозяйка ставитъ общую для всѣхъ миску съ похлебкой. Взрослые и дѣти готовятся сѣсть за ѣду. Вдругъ открывается дверь

и въ комнату скромныхъ нѣмецкихъ художниковъ входитъ Іисусъ Христосъ. На Немъ длинный хитонъ. Лицо Его свѣтится любовью. Онъ весь кажется воплощенною благостью. Рука благословляетъ трапезу, а чистый и свѣтлый взоръ говоритъ: „Миръ дому сему“.

Присутствующіе благоговѣйно изумлены и смотрятъ на Свѣтлаго Гостя съ любовнымъ восторгомъ. Хозяинъ, видимо, единственный работникъ на всю большую семью, въ короткой самодѣльной курткѣ и въ грубыхъ деревянныхъ башмакахъ радостно привѣтствуетъ Іисуса и говоритъ:

— Войди къ намъ, Господи! Будь нашимъ Гостемъ!

Картина полна нѣжной библейской поэзіи и вмѣстѣ съ тѣмъ ясно намѣчаетъ путь къ рѣшенію неразрѣшенныхъ путъ жизни.

Въ ней художникъ—мыслитель говоритъ:

— Намъ въ жизни для радостнаго и любовнаго устроенія личнаго и общественнаго существованія не хватаетъ... Бога, не хватаетъ Христа, не хватаетъ Его евангельской правды и всеобъемлющей любви.

— Пусть человѣчество, какъ усталый труженикъ въ громадной міровой мастерской, на землѣ, подобно нѣмецкому ремесленнику, скажетъ Небесному Учителю любви и правды: „приди къ намъ, Господи, будь нашимъ Гостемъ! Сядь съ нами за столъ, будь Постояннымъ Членомъ нашей общечеловѣческой семьи, благослови нашу трапезу и освяти нашъ трудъ, руководи всѣмъ строемъ нашей жизни!“ Тогда любая отдѣльная

картина жизни будетъ проникнута тою евангельскою мягкостью, чистой поэзіей благородныхъ душъ и красотой мирнаго покоя на землѣ, которыми такъ вѣетъ отъ картинъ кисти Уде.

Шире дорогу передъ „Свѣтлымъ Гостемъ“! Дайте Ему просторъ въ жизни! Сдѣлайте Его постояннымъ жильцомъ своего сердца, полноправнымъ хозяиномъ вашей души.

Всѣ нити жизни связываются, какъ въ узлѣ, въ сердцѣ человѣка и, не снявъ съ сердца всей тяготы злобъ, неправды и насилія, нельзя развязать узлы жизни. Поэтому и Горькій, и всякій другой писатель, при всемъ своемъ крупномъ талантѣ, тогда только смогутъ читателю „Среди ночи путь-дорогу указать“,

когда сами предварительно поучатся основательно путямъ жизни у Великаго Учителя жизни, Учителя любви, добра и правды, и правды не карающей, а милующей, исцѣляющей. Этотъ Великій Свѣтлый Гость одинъ только можетъ дать силы писателю стать свѣтлымъ гостемъ въ сердцѣ людей, разрѣшить по мѣрѣ своего таланта всѣ роковые вопросы жизни и избѣжать некрасовскаго „роковаго“ въ своей личной судьбѣ.

Изданія Священника Г. С. ПЕТРОВА.

„ЕВАНГЕЛІЕ, КАКЪ ОСНОВА ЖИЗНИ“.

СОДЕРЖАНІЕ: Основныя начала цивилизаціи.—Христіанское воспитаніе воли.—Нравственное вырожденіе.—Величіе Евангелія.—Царство Божіе.

18-е изданіе. Спб., 1904 г. **Цѣна 40 коп.**

„ШКОЛА и ЖИЗНЬ“.

СОДЕРЖАНІЕ: „Думы о школѣ“.—„Плоды школы“.—„Семья и школа.“—„Татьянинъ день“.—„Смыслъ жизни“.—„Современная культура“.—„Женское образованіе“.—„Русское дѣло“.—„Истинное геройство“.—„Наше время“.—„Подъ Новый годъ“.

Изданіе 8-ое 1903 г. **Цѣна 50 коп.**

„По стопамъ Христа“.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Изданіе 8-ое. — **Цѣна 40 коп.**
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Изданіе 8-ое. — **Цѣна 40 коп.**

„БЕСѢДЫ о БОГѢ и БОЖІЕЙ ПРАВДѢ“.

СОДЕРЖАНІЕ: „О Богѣ“.—„О Божьей волѣ“.—„Христосъ-Спаситель“.—„Божія правда“.—„Первые шаги“.—„Блаженны кроткіе“.—„Блаженны алчущіе и жаждущіе правды“.—„Блаженны милостивые“.—„Блаженны чистые сердцемъ“.—„Блаженны миротворцы“.—„Блаженны изгнанные за правду“.—„Самое малое“.

Съ рисунками. Изданіе 2-ое. **Цѣна 20 коп.**

„ЛЮДИ—БРАТЬЯ“.

Изд. 2-е, 1903 г. **Цѣна 15 к.**

Дозволено Цензурою. Спб., 2 Сентября 1903 года.

Типографія П. Ѳ. Вощинской, Ярославская, ул., № 1—9.

Ф. I С. 22

ПЕЧАТАЮТСЯ

НОВЫЯ КНИГИ

Священника Г. С. ПЕТРОВА.

„Вавилонская башня“

(ГОРОДА и ЛЮДИ).

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

„По стопамъ Христа“.

„АПОСТОЛЫ ТРЕЗВОСТИ“.

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ. — Содержаніе: „Пасторъ Гутри“.—“Другъ солдатъ“.—„Другъ матросовъ“.

ВЫПУСКЪ ТРЕТІЙ.—Содержаніе: „С. А. Рачинскій“. — „Протоіерей о. Іоаннъ Наумовичъ“. — „Русскимъ трезвенникамъ“.

Складъ всѣхъ книгъ Священ. Г. С. ПЕТРОВА

въ магазинахъ Т-ва И. Д. СЫТИНА:

въ Москвѣ, въ С.-Петербургѣ, въ Кіевѣ, въ Варшавѣ, въ Екатеринбургѣ, въ Одессѣ, въ Воронежѣ, въ Харьковѣ и въ Нижегородской ярмаркѣ.

3 2044 014 262 620

THE BORROWER WILL BE CHARGED THE COST OF OVERDUE NOTIFICATION IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

STACK STUDY

CHARGE CANCELLED

CANCELLED
FEB 1 0 1992
AUG 1 9 1992

WIDENER
SEP 1 0 1998
CANCELLED
BOOK DUE